
НОЙ
ՆՈՅ
1993 • 7

НОЙ

АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

МОСКВА
1993



ISBN 5-7270-0012-2

НАША ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

Акционерное общество «ТЕПЛО» (президент—Гамлет МИРЗОЯН) учредило премии «Журналистский вклад в реформу».
Мы рады сообщить читателям, что среди московских журналистов-лауреатов премии главный редактор вестника «НОЙ» Вардван ВАРЖАПЕТЯН.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОЙ»

Мы начали с «КНИГИ НАЧАЛ» (253 стр. тир. 999 экз.).
Это уникальное издание, таких книг еще не бывало! На вашей ладони— целая библиотека самых знаменитых книг, точнее— библиотека первых фраз. В конце года выйдет сборник стихов великой немецкой поэтессы, лауреата Нобелевской премии Нелли ЗАКС—«ЗВЕЗДНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (пер. Владимира МИКУШЕВИЧА). Это первая книга Нелли ЗАКС в России.

У издательства большие планы, но главное: подготовлена
© ВЕЛИКАЯ СЕРИЯ «НОЙ-999»
—её составят однотомники ПОЛНЫХ СОБРАНИЙ СОЧИНЕНИЙ величайших писателей мира. Только представьте, как вы их ставите на полку: один том—весь Пушкин, второй—весь Шекспир, третий—весь Саади, четвертый—весь Овидий, пятый—весь Мольер... Пятнадцать томов—пятнадцать полных сочинений.
Все справки, деловые предложения, подписка на книги издательства «НОЙ» по тел. (095) 386-25-63.



Нелли ЗАКС

НАРОДЫ ЗЕМЛИ

Народы Земли
вы, лучами неведомых созвездий
опутанные, словно пряжей,
вы шьете и вновь распарываете,
в смешении языков,
словно в улье, всласть жалите,
чтобы и вас ужалили.

Народы Земли,
не разрушайте Вселенную слов,
не рассекайте ножами ненависти
звук, рожденный вместе с дыханием.

Народы Земли,
если б никто не подразумевал смерть,
говоря «жизнь».
если бы никто не подразумевал кровь,
говоря «колыбель».

Народы Земли,
оставьте слова у их истока,
ибо это они возвращают
горизонты истинному небу
и своей изнанкой,
словно маской, прикрывая зевок ночи,
помогают рождаться звездам.

Пер. с немецкого В.Микушевича

Борис ПАСТЕРНАК

ДРУЗЬЯМ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ

В одной редакции собралось несколько сотрудников. Зашла речь о близящейся встрече Нового Года и обычных поздравлениях с Новым Годом в печати. И все склонились ко мнению, что наилучшим пожеланием к Новому пятьдесят восьмому году, почти как в старых молитвах, будет пожелание мира всему миру.

Требуется ли напоминать, как необходим и сладок мир, как непоправимо ужасна война. Как-то неловко изрекать самоочевидности, думать приблизительно то же самое, что думают все на свете, но в отличие от большинства, скромно оставляющего эти азбучные истины про себя, предавать их гласности, подписывать своим именем, получать за это гонорар.

Древние в применение вооруженной силы не видели ничего предосудительного. Но чуть ли не с первых веков христианства войну, истребление людей стали считать грехом и преступлением. Мысль о международном судилище, которое разрешало бы споры между государствами добром, а не силой, впервые зародилась во Франции, в средневековых городских общинах двенадцатого века. С тех пор философы всех столетий не переставали писать о вечном мире, и пересказать историю этой мечты—значит перебрать имена всех нравственных мыслителей от Августина до Канта и Толстого. Но мы подойдем к вопросу проще, без лишней учености, со стороны обиходно-бытовой, повседневной.Чаще всего рассуждают так. «Нам теперь как в раю, никаких забот. Только муха бы на нас не села. Не смущайте нашего блаженства, отойдите, не тревожьте нас».

Мне кажется гораздо более убедительным другой, противоположный довод. «Именно потому, что до рая еще далеко (да и ну

его, право, этот скучный, как все несуществующее, умозрительный и нереальный рай) именно потому, что мы чем-то не нравимся вам и вас сердим, да и мы сами далеки от самодовольства, оставьте нас в покое. Дайте самой жизни терпеливо и естественно довершить и сгладить то, что начато было насильственно и бурно. Не вмешивайтесь в ее превращения, не мешайте ей.

Потому что ни одна из войн не устраняла зла, против которого, в виде предлога, она затевалась, но наоборот, укрепляла и увековечивала его.

Или вы не ждете от нас перемен, и вам кажется, что мы впали в застой? Что мы только переименовываем города и улицы и не способны к дальнейшим усовершенствованиям и изменениям? Но, быть может, так много стоила нам и так сокрушительна была ломка, на которую за всех вас во всем мире пошли мы одни и которую сто лет подряд проповедовали ваши просветители, что пока нам не до новых потрясений, до сих пор не опомнимся и не можем отдышаться.

Если оглянуться и вспомнить, ведь правда, долго могло казаться, что эти миражи и предсказания, что это цвет девятнадцатого столетия, что эта социалистическая мысль навсегда останутся украшениями публицистики и никогда не выйдут из книг, что этого на свете никогда не будет.

И вот нашлась страна, где люди, чистые сердцем, как дети, не шутили словом. Они все принимали всерьез. Слово было закон для них. Они полагали, что ежели что сказано, то оно должно быть и сделано. И не задумываясь, очертя голову, они бросились в водоворот своих собственных, но главным образом так же и ваших учений. Они вступили в провозглашенное вами новое политическое совершеннолетие, они, единственные в мире, через него прошли. То, что так долго задумывалось, готовилось и откладывалось,—завершилось. Скажите нам спасибо, что это сделано, что оно—позади.

И вот еще за что скажите спасибо нам. Наша революция, как бы ни были велики различия, задала тон и вам, наполнила смыслом и содержанием текущее столетие. Не мы, не наша молодежь,—даже сын вашего банкира уже совсем не то, что были его отец и дед. Пусть он циничнее и не так образован, но он проще и немногос-

ловнее их, он по духу ближе к истине и умнее. Он уже не верит в божественное происхождение собственности, он не думает, что победит сбережениями смерть. Он налегке, как подобает человеку, вступет в жизнь, он гостем приходит на праздник существования и знает, что дело не в том, сколько он получит в наследство, а в том, как он сам поведет себя в гостях, чем полюбится людям и запомнится.

И за этого нового человека, даже в вашем старом обществе, за то, что он живее, тоньше и одареннее своих грузных высокопарных предшественников, скажите тоже спасибо нам, потому что это детище века принято в родильном доме, называющемся Россия.

Так вот, не лучше ли нам мирно поздравить друг друга с наступающим Новым годом и пожелать друг другу, чтобы раскаты военного грома не примешивались к хлопанью винных пробок на его встрече и никогда не раздались потом, и в течение его и в следующие годы.

Если же суждено грянуть несчастью, вспомните, какие события воспитали нас и какою для нас были суровой закаляющею школой. Нет людей отчаяннее нас и более готовых к несбыточному и баснословному, и любой военный вызов превратит нас поголовно в героев, как в предшествующее недавнее испытание.

20 дек. 1957

Б.Пастернак. Соб. соч. в 5 тт., т. 4, м., «Художественная литература», 1991, с.668—670.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Свое новогоднее пожелание «Друзьям на Востоке и Западе» Борис Пастернак написал на пороге 1958 года, того трагического года, когда его мировая слава обернулась на родине политическим скандалом и гонениями, ускорившими его гибель.Хотя с тех пор прошло почти сорок лет, и обиход, при котором эта заметка была написана, переменился в корне, в своей пророческой основе пожелание нисколько не устарело.Несмотря на то, что текст был написан по заказу, он

не был напечатан в свое время. Так почти всегда бывало с заказанными работами Пастернака, потому что его мысль и ее выражение шли гораздо глубже и превосходили самые смелые намерения редакций, прорываясь, как шило из мешка, из плоскости общих мест и распространенных представлений.

Эта заметка была найдена в бумагах Пастернака и опубликована посмертно 1 января 1965 года в газете «Литературная Россия». Но и в это сравнительно либеральное время редакция не пропустила существенное положение:

«Дайте самой жизни терпеливо и естественно довершить и сгладить то, что начато было насильственно и бурно. Не вмешивайтесь в ее превращения, не мешайте ей. Потому что ни одна из войн не устранила зла, против которого, в виде предлога, она затевалась, но наоборот, укрепляла и увековечивала его».

Здесь сказалось существо философии Пастернака, как автора книги, которую он назвал «Сестра моя жизнь», его вера в преобразующие и творческие силы жизни. Об этом написан и «Доктор Живаго». Он был безусловно убежден в том, что жизнь не материал для переделок и перестроек, но начало куда более активное и мощное, чем самые смелые мысли и поступки политических деятелей. Насилие над нею он считал абсолютным злом, тем более страшным, чем оно настойчивее и длительнее.

Эти мысли составляли основное противоречие между его творчеством и советской литературой в целом. Пропаганде борьбы за общее счастье и справедливость, которой посвящала она свои основные произведения, Пастернак противостоял своей любовью к жизни как таковой во всех ее проявлениях, воспевая высшую ценность человеческой личности и ее неповторимость. Его полное неприятие любой войны и насилия было неприемлемо для тех, кто стремился ко всеобщей победе социализма.

Кажется, что история последних лет настолько перевернула все представления и чаяния того времени, что печатать эту заметку 1957 года не имеет смысла, однако исторический опыт первой половины нашего века продолжает оставаться основой того, что мы теперь переживаем, и определяет ближайшие перспективы. Диаметрально изменилась трактовка этого опыта: социалистичские идеи признаны порочными, результатом революции и последующего

семидесятилетия заменены безудержным стремлением к идеалам капитализма в любых его формах. Насилие, причиненное жизни, по-прежнему отзывается новыми страданиями в каждом из нас.

Пастернак не противопоставляет капитализма социализму. Развитие его мысли идет в ином направлении. Подобно тому, как в «Докторе Живаго» римские добродетели революционера Павла Антипова противопоставлены христианскому мировосприятию творчески одаренного Юрия Живаго, так и в этой заметке язычество с его философией насилия соотносится с христианством, ежедневно молящим: «Міра мірови у Господа просимъ».

При всем лексическом совпадении и генетиченской связи советского лозунга «Миру—мир» с древней молитвой, Пастернак отчетливо видел официальное лицемерие и не доверял постоянно повторяемым «хорошим» словам. Этим он объяснял свой отказ подписать Стокгольмское воззвание 1954 года, призывавшее к борьбе за мир.

Летом 1959 года отец рассказывал мне, что, посвятив свою жизнь и творчество противоборству с насилием и убийством, он не видит надобности подписываться под воззванием в защиту мира. Все, чем он занимался в жизни, было направлено на то, чтобы сделать жизнь человека богаче и дороже, чтобы он мог противопоставить еесчастливую наполненность смерти и войне. Война возникает тогда, когда жизнь человека не дорога ему и ничего не стóит, когда жизнь—копейка и с ней не жалко расстаться. Если он никого ни в чем не убедил и ничего не достиг тем, что он сделал за свою долгую жизнь, то его подпись под коллективным письмом с сомнительным текстом ничего к этому не прибавит.

Предлагая читателю старое новогоднее пожелание, мы хотим присоединиться к высказанной в нем надежде, что живые силы общества смогут преодолеть обесценивание жизни, влекущее за собою повсеместные проявления насилия, что люди с большим доверием станут относиться к жизни в ее естественном течении и найдут счастье в своих производительных занятиях.

Евгений ПАСТЕРНАК

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
его святейшества архиепископа Торгома Манукяна, армянского патриарха Иерусалима

Колокола Вифлеема только что пробили полночь, возвестив миру рождение нового дня и принесли миллионам людей благую весть о Рождестве Христовом.

Мы преклоняем колени перед священными яслями в бедной пещере, дабы почтить это событие, нас переполняет чувство благоговения, ибо мы становимся свидетелями бессмертного таинства, совершаемого каждое Рождество.

В этом году, как и во все предыдущие годы, мы отправились в Вифлеем по стопам трех волхвов, путь которым указывала яркая звезда.

После долгого трудного странствования трем мудрецам удалось, наконец, достичь цели, найдя и узнав младенца, который был Мессией. И не устрашили их опасности, не покинула надежда. Они знали: звезда непременно приведет их к новорожденному царю. В этом знании заключалась тайна могущества, которое даруют терпение и упорное стремление.

Многие ли из нас обладают такой силой, такой крепкой верой в возможность избавления от греха, верой в вечное спасение, даруемое упованием на Рождество?

Это особое время надежд и веселья, мужества перед лицом невзгод и долготерпения.

Но, взглянув окрест, мы видим, что окружены сердцами, уязвленными печалью и болью. Громко слышен плач сокрушающихся в разных концах мира.

Кажется, человечество сбилось с пути, обольщенное искушением сатаны, несмотря на увещевания пророков и учителей.

Да, создан новый мировой порядок, ужасный призрак Армагеддона отброшен во тьму, породившую его, но это не залог того, что

всеобщий мир стал достижимее. Не видно конца битве с антихристом, ибо неистребима в человеке предрасположенность к насилию.

Здесь, в нашем местопребывании ежедневно становимся свидетелями ожесточенной междуусобицы братьев наших—арабов и евреев, коим еще предстоит примирение, но после сорока лет непрекращающейся вражды виден , наконец, свет в конце тоннеля.

Человечество не только страдает, —оно больно, оно деградирует. Иногда кажется, что мир сошел с ума. И это не так уж далеко от истины.

Однако еще не поздно одуматься, остановить лавину разрушения, стремящую мир к неотвратимой катастрофе: перенаселенность, загрязнение окружающей среды, эпидемии, истребление народов. Нескончаем список человеческих безумств, ввергающих мир в хаос.

Благодаря бесконечной любви и милости Господа мы еще не истребили себя, мы еще здесь—это чудо особенно зримо в дни Рождества.

Несмотря на все зло мира, которое унаследовал человек: алчность, жестокость, ненависть и угнетение, мы еще способны возродиться, препоясать чресла и одолеть зло добром, ненависть—любовью, жадность—щедростью, жестокость—святостью.

Любовь и надежда—вот в чем истинный смысл Рождества. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную».

Нам необходима любовь и необходима надежда. Одно нельзя получить без другого. Они важны вкупе. Порознь они не существуют,—только как единое. Поистине безграничны возможности тех, в чьих сердцах есть любовь и надежда.

Вот о чем возвестили ангелы в тот великий день две тысячи лет назад, вот о чем пели они пастухам, восславив рождение Господа, мир на земле и благоволение к людям.

Вифлеем, 1993

Пер. с английского Светланы ДОМБРОВСКОЙ



О ЛЮДИ, БРАТЬЯ МОИ!

Мальчик-еврей рассказывает о ненависти, которую он пережил в десятилетнем возрасте; этим ребенком был я.

А.К.

I

Белый листок, утешенье мое, задушевный друг, вот я отряхиваю дурное настроение, терзающее душу постоянно, —можете в этом не сомневаться,—я хочу поведать тебе и себе историю, истинную историю моего детства. Ты, мое верное золотое перо, которое я взял бы с собой в могилу, набросай мимолетные, отнюдь не забавные воспоминания. Да, воспоминания детства, которыми я хочу поделиться с человеком, глядящим на меня из зеркала.

Речь в них пойдет не о том памятном дне, когда ножницы отстригли кудри мальчугана, не о пристойной любовной интрижке с девочкой из благовоспитанного семейства, не о старенькой бонне, преданно служившей нашей семье сорок лет, буржуа это нравится, и их озаренный идеалом взгляд смягчается от зачаровывающего их комфорта, ведь они всячески подчеркивают свою любовь к ближнему, они постоянно одаривают улыбками свою домашнюю рабыню, которой они, хотя и любят ее, платят гроши, они, как святоши, сопровождают каждое свое распоряжение улыбкой, демонстрирую обнаженные зубы—это благолепие не дорого стоит но убеждает их в нравственном совершенстве и ублажает душу.

Alber Cohen. Ô vous, frères humains. Éditions Gallimard, 1972.

Речь пойдет не о семейном обеде у богатой ворчливой бабушки, у которой, как уверяют, золотое сердце,—они все прощают дряхлым глухим генеральшам, тиранящим родню, властвующим ударами клюки об пол, им прощают все, ведь они владеют солидной недвижимостью, включая вековые дубы вокруг дома и челядь,—об этих трухлявых мухоморах твердят, что они, вообщем-то, хорошие и добрые, их обожают приторно, как королеву Великобритании, особенно когда она на экране телевизора нежно обнимает маленькую девочку с букетом,—буржуа просто обожают это, они подло умиляются такой любви, дарят улыбки драгоценной королеве, пока еще восседающей на троне, заискивающе улыбаются ей, радуются полной безопасности, стабильному положению и традициям, гарантирующим охрану их собственности, и так как у них избыток душевного тепла с достаточным запасом льда, они обожают свой внутренний мир и обожают лакомиться духовными ценностями не меньше , чем ценными бумагами и акциями. Речь пойдет не о буржуазном злоключении, вроде ныряния в пруд в дедушкиной усадьбе, не о преждевременном изгнании из лона духовной и богатой семьи, или о вопросе, который обычно задают Деве Марии: скажите, а Бог любит наших слуг также сильно, как нас, людей допропорядочных?

Нет, речь пойдет о воспоминаниях еврейского мальчика, речь о том далеком дне, когда мне исполнилось десять лет. Антисемиты, приготовьтесь насладиться страданиями ребенка—вы, которые скоро умрете, однако ваша неотвратимая агония не умерит вашу ненависть. О, моя гримаса, скрывающая фальшивую улыбку, скрывающая мое еврейское несчастье. О, грусть на лице человека из зеркала...

О, моя гримаса, скрывающая фальшивую улыбку, о моя обманутая любовь. Ибо я люблю, и когда вижу в коляске грудного младенца, дарящего мне свою беззубую улыбку, улыбку ангела, о боже, как велик соблазн схватить эту кроху, склониться над этой только что появившейся на свет ручкой и нежно поцеловать ее, расцеловать, прижать ее к глазам, она меня возбуждает я ее люблю, но меня сразу начнает преследовать навязчивая мысль,

что не всегда он будет милым безобидным младенцем, что в нем уже опасно затаился, дожидаясь своего часа, взрослый с острыми клыками, матерый антисемит, ненавистник, который мне никогда не улыбнется. О, несчастная еврейская гримаса, смахивающая на горькую улыбку, о недоуменные, смиренные пожимания плеч, о медленное умирание наших душ.

II

Я старею, получая от этого удовольствие, я скоро умру. Я умру скоро и приму смерть со смиренной улыбкой. Смешно, но я умру, и буду лежать в полном одиночестве, задубевший в своем деревянном ящике, в своей земле, один, окоченев, навечно погребенный в затхлой черной тишине, и меня будут окружать только параллельные ряды неподвижных, безучастных мертвецов, моих немых собратьев по несчастью. Один, флегматичный, окоченевший, в своем длинном ящике, в земле, влажной земле, кишащей медленно ползающими зловонными паразитами, у которых своя маленькая жизнь, а сверху меня придавят тяжелой надгробной плитой, чтобы лишить возможности уже издохшего выползти из этой мерзкой дыры.

Я умру, повторяю я каждый день. Прощайте все, кого я любил, та, которую я боготворил, прощай весь мир, прекрасная природа, прощай нежное Ионическое море, на берегах которого я родился, море материнское, такое чистое, что с берега отчетливо видно дно, и у меня от умиления вскипают слезы. А вы, мои милые воспоминания, куда денетесь вы, когда меня не станет, о мои голуби-воспоминания, неужели и вы умрете?

Лежа неподвижно на смертном одре, я даже не услышу рыдания той, которую так любил, просто невероятно, что она, моя возлюбленная, будет лицезреть меня в недоступной ледяной отстраненности, меня, ставшего ей чужим, и она не поймет этой жестокости моей, не поймет, почему я не отзываюсь на ее рыдания—я, который всегда всей душой откликался и утешал ее, и она,

успокоившись, улыбалась, склонив свою головку на мое плечо, терлась лбом о мою грудь, мой маленький любимый пони.

Но прежде, чем я недвижимо возлягу на своем смертном одре, прежде чем я стану равнодушным к рыданиям той, которую так сильно любил, прежде чем умолкну навеки и окоченею, мне важно написать книгу, короткую или длинную (там будет видно), но только не роман, хватит романов.

На страницах, которые я испишу своим почерком, своим до боли медлительным почерком, со странным печальным удовольствием и старанием, я высмею в себе того ребенка, каким я был в детстве. И неважно, сумею ли я обратить ненависть в добро, убедить людей, что евреи—тоже люди, что и они могут быть ближними. Со своими волнениями, радостями,надеждами, слезами одиночества, сдавленными рыданиями, стыдом, опущенными глазами.

III

Не знаю, почему я убежден, что мой рассказ сможет изменить людей, ненавидящих евреев, вырвать клыки из их душ. Да, убеждал я сам себя, если я расскажу им о том зле, которое они причинили мальчику, вдребезги разбив его счастье, если они все поймут и устыдятся своей злобы, они полюбят нас. Я весело подмигиваю человеку, глядящему на меня из зеркала. Внезапно меня охватывает жалость к тому, кто сидит совсем один в своей комнате, жалость к этому мессионеру среди ненавидящих, жалость к этой химере,которая, предвкушая победу, довольно потирает руки, жалость к абсурду бытия, жалость к самому себе, потирающему руки.

Ну да все равно,—если эта книга сумеет изменить хотя бы одного единственного ненавистника, брата моего по смерти, значит, я писал ее не напрасно, не так ли, моя испуганная мама? Какую часть во мне, в моей личности, одобряет моя мама, я знаю,—она погибла во время немецкой окупации, моя мама, которая испытывала такой страх перед ненавистниками евреев, моя мама, которая была такой хорошей, такой наивной,—они заставили ее страдать. Она была хорошей и верила в Бога. Помню, как однажды

она, желая показать мне величие Вечности, заявила, что любит даже мух, даже каждую мушку в отдельности, и добавила:«Я пыталась сделать для мух столько, сколько Он, но не смогла, это для меня слишком».

IV

Я скоро умру и стану мертвецом, равнодушным, окоченевшим трупом, лежащим в той же кровати, в которой я лежал живым и в которой буду лежать сегодня ночью и дышать, а потом меня, обряженного, с отвращением и ворчанием положат в гроб, сделанный из навощенного дуба, внутри игриво украшенный белой сатиновой подкладкой, в мой гроб, в мою последнюю собственность, и они, эти дураки, конечно, не сумеют меня как следует обрядить, и мне будет очень неловко, неудобно в моем угольно-черном жарком костюме,—я предпочел бы легкий серый, элегантный, но они будут делать со мной все, что захотят, ведь так обращаются со всеми мертвыми, этими беспомощными бедолагами, и надо мной завинтят тяжелую, не пропускающую воздуха крышку, и я не стану протестовать, несчастный агнец, и прости-прощай, Альбер Коэн.

Я скоро умру и окажусь навсегда в земле, а высоко в небе хищная птица, расправив крылья, уже ждет меня, наблюдает за мной, и я пишу об этом с мягкой улыбкой, старательно, не спеша, неуклюже, и все же, напрягая волю, продвигаюсь вперед. Чудаковатый терпеливый муравей, я протачиваю узкие ходы, старательно нащупываю извилины, упорно прокладываю тоннели, и все это делаю своим ученическим почерком, который не менялся с тех пор, как я взял в руки перо, находясь в состоянии полного повиновения и веры, веры безрадостной, но доставляющей неврастеническое удовлетворение, кое-как, с грехом пополам, грустно и машинально, действуя по принуждению, как святоша или звезда, я изливаю свою печаль, свои жалобы будущему, и остается лишь несколько засохших цветов после похорон моего сердца, это мои цветы для тех, кого я любил в тиши безответно, ибо они никогда не любили всерьез.

Снаружи, за стенами, прекрасная погода, там кипит жизнь, а я сижу взаперти в полном одиночестве, забытый жизнью. Смешно, но я умру лет через пять, в лучшем случае через десять, стану мертвецом, вызывающим у всех смущение, с одеревеневшими суставами, с небрежно завязанным галстуком, впервые с плохо повязанным галстуком, ведь эти придурки ничего не умеют делать, настолько мертвый, настоящий маккавей со всеми его прелестями, отдавший концы, который через сто лет превратится в скелет, у него провалится нос, обнажится страшный оскал челюстей—эта безумная улыбка мертвецов, а через тысячу лет в моем ящике останется тазовая кость, или крестец, или вертлуг бедра, или просто кости.

О, эта непривычная тяжесть в руках, она тревожный знак, а незнакомая боль в груди—приготовление, начало смерти; старость—это умирание по частям, а самое страшное—агония, которую я уже испытал, и никакой надежды, никакой загробной жизни,никакого пристанища в бездне за верхним пределом, и славой покроется истина, мое счастье и моя радость. Смешно, но скоро я отойду в небытие, я стану мертвецом, непроницаемым, и вот, вместо того, чтобы наслаждаться своей неповторимой единственной жизнью, сижу совсем одинешенек в комнате и вывожу чернильные каракули на бумаге, одним словом, занимаюсь совершенно бесполезным делом.

Увы, я наивный человек, но перед тем, как медленно сойти во гроб, я хочу оставить нечто вроде завещания тем, кто останется жить, когда я, простившись с ними и освободившись от них, буду пребывать в абсолютной неподвижности, напыщенный, жуткий, позеленевший, пожелтевший, иссыхающий в плохо пригнанном тесном душном ящике без воздуха, на веки вечные глухой и немой, не слышащий живых, шарканья их ног над собой, равнодушный к крикам птиц, слетевшихся ко мне на могилу. И вдруг одна из них начнет медленно кружить надо мной, чтобы почувствовать: она жива, ей хорошо, прекрасная погода; Боже, прозвенит она на серебряном языке, и запоет, провозгласит непостижимую маленькую поэму над моей могилой, эта крохотная безумица, ликующая

пигалица, неприметная мессия, она заставила меня устыдиться той вечной смерти, которой я омрачаю эти страницы.

Мне, который с детства пребывает рядом со своей смертью, важно, что любовь и доброта, эта младшая сестра любви—две самые вечные ценности на свете. Но как заставить людей, моих собратьев, поверить в это? Ведь они никогда не поверят этому, и я продолжаю оставаться наивным десятилетним мальчиком. Но я должен рассказать о том, что я познал, а последствия меня не интересуют. О вы, люди-братья, почувствуйте радость преодоления ненависти к человеку. Я говорю вам это улыбаясь, ибо говорю, будучи стариком, говорю вам на пороге смерти.

V

Есть статистики. Есть археологи. Я же непризнанный специалист по смерти, смерти с немой улыбкой каймана. Призвание для избранных. Но что я могу поделать, если смерть меня постоянно преследует, обряжает в траур, эта вселенская смерть, что я могу с собой поделать, если я не похож на тех, кто снует в уличной толпе, кто кажется себе столь важным и значительным в погоне за благополоучием—ведь это будущие трупы, но они не ведают, что скоро перестанут жестикулировать, тараторить и успокоятся в последней герметичной упаковки.

О, эти временно-юные девы,верящие, что они будут жить вечно, шикарные крошки на цокающих каблучках, представительницы расы совершеннолетних, дерзко демонстрирующие обтянутые платьями забавные попки, стремящиеся как можно больше оголиться, продемонстрировать обнаженную плоть, на их накрашенных губках играет улыбка—призыв хищных самок, зажженный красный фонарь, все они проявляют лихорадочное желание, подчеркнутую озабоченность вызвать похоть у самцов, все они, болтая, стремительно приближаются к своей вечной немоте, не желая ни образумиться, ни проявить добродетель,

О эти потешные мужчины-самцы, эти волосатые потомки ископаемого антропопитека, обожатели силы и животной власти,

дающей право убивать. Они фланируют, свято веря, что будут жить вечно, они горячо обсуждают победы любимой футбольной команды, которая не имеет права проиграть и тем самым нанести жестокий удар по национальной гордости болельщков, они во всем винят судью на поле, и так же пылко они превозноят победу еще одного национального героя—велосипедиста, который только и умеет по-обязьяньи ловко крутить педали, но эти кретины его обожают, они его боготворят, его победы—праздники для них, и они даже не подозревают, что для их гробов уже срублены деревья, разделаны на лесопилке. Что их уже ждут.

VI

Почему же страшная участь, которая ожидает всех людей, всех,кто рождается, смеется, торопится и вдруг неподвижно замирает, почему эта катастрофа, поджидающая каждого, не делает людей чуткими и предупредительными друг к другу? Невероятно! Нет, вы только подумайте,—все ненавидят друг друга, в каждом городе, каждой деревне, у каждого есть враг, которому надо досадить, навредить, у каждого человека есть свой Авель и свой Каин. Веками люди убивают друг друга в войнах, убивают смело, без разбора, презрев заповедь любить ближнего своего, заповедь, признанную миром, впервые записанную в книге Левит (гл.19, стих 18), вы только взгляните на этих изворотливых обезьян, которые веками пускают в ход стрелы, топоры, секиры, копья, пики, арбалеты, алебарды, мушкеты, винтовки, штыки, вспарывающие животы, пулеметы, торпеды, шариковые бомбы, напалм, нервно-паралитический газ, милые их сердцу водородные бомбы, высокочтитмые и омерзительные кобальтовые бомбы, подводные лодки с ядерным оружием на борту, межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты «земля-земля», «земля-воздух», «вода-земля», а в скором времени «Земля-Луна» и предмет их особой гордости—противоракетная система с ракетами, оснащенными самонаводящимися боеголовками. Таков их путь, таково их безумие.

Я не вижу и, вероятно никогда не увижу выхода из этой бездны безумия ученых обезьян. Веками декларируя любовь к

ближнему, с восторгом упиваясь этой заповедью, одетые обезьяны продолжают поклоняться силе в любом обличье и проявлении, силе, которая наделяет их способностью вредить, даруя августейшее право на убийство. Эти хищники просто обожают войну, она для них священна, она возвышает и возбуждает, о ней говорят с уважением, торжественно, они просто захлебываются от перечисления битв и побед, священных дат, имен героев, великих убийц, завоевателей, диктаторов, маршалов и адмиралов, они окружают почетом палачей, причем делают это, продолжая проповедовать любовь к ближнему, одновременно ненавидя его,—еще в благодатном 1970-м на стенах Экс-ан-Прованса были начертаны благородные слова: «Да сгинет еврейская плоть, да возвратятся блаженные времена геноцида!» О любовь к ближнему.

VII

Любовь к ближнему, я забуду о ней сегодня вечером. Но остается счастье, столь же эфемерное, как я и она, и столь же великое. Счастье, которое она принесет с собой сегодня вечером, счастье каждого вечера, счастье от ее голоса, раздающегося за дверью, счастье ее присутствия, она не осмеливается войти без моего приглашения, и иногда я даже притворяюсь, что не слышу—только ради того, чтоб вновь услышать из-за двери по-детски нежное «я здесь», осознать это пронизывающее меня чудо, услышать несколько раз детское щебетанье, настойчивое, когда они начинает беспокоиться из-за моего молчания, опасаясь какого-то непредвиденного несчастья, в ее затаенном испуге отражается моя скоропостижная смерть, моя любовь, мое стремление к другому человеку; наконец, я отвечаю ей, приглашаю войти, и вот я уже испытываю счастье, блаженство от того, что вижу ее вновь, счастье каждого дня, счастье созерцания ее звездных глаз, ее души, скрывающейся там в глубине, в зрачках, ее угловатости—это чудо каждого вечера, о мое блаженство, мое собственное гетто!

Вдруг в этой пустынной комнате, где я, сидя в одиночестве за столом, пишу, я произношу три священных для нее слова, я говорю их той, которой здесь нет, и чувствую радость, и к черту любовь к

ближнему, пусть не останется никакой надежды, к черту близкую смерть, ее и мою, пусть нас больше не будет, пусть мы исчезнем навсегда, даже если она не придет сегодня, я все равно ее увижу.

VIII

Я смотрю на грустные глаза, которые взирают на меня из зеркала, грустные глаза, угрюмые и неверящие, всезнающие, вдруг они становятся глазами других евреев, тех, которые придут после меня, когда меня уже не будет, эти скорбные евреи, избранное соцветие, евреи без «Боже, храни короля», без «Марсельезы», без «Правь, Британия», евреи, познавшие унижение уже в десятилетнем возрасте. И вот однажды, в такой же знакомый мне день, они, выйдя из школы, подойдут к продавцу,торгующему универсальным пятновыводителем, и он им скажет, как сказал когда-то мне, когда их души переполнит нежное идиотское доверие, он им скажет, что сказал мне шестого августа 1905 года, в мой десятый день рождения, и бо я пришел в этот мир, смешно сказать, десять лет назад.

IX

Втот день, шестого августа 1905 года, в пять минут четвертого, я вышел из лицея, где во время каникул изучал математику, и увидел толпу. Я подошел, проявляя интерес к жизни, не так давно начавшейся, и стремясь насладиться ею. За столом сидел торговец пятновыводителем, пылко расхваливая достоинства своего универсального средства. Возбужденный тем, что мне посчастливилось пополнить свои знания, я протиснулся в первый ряд зевак, чтобы лучше слышать и вблизи восхититься белокурым торговцем с тонкими усиками. В детстве мне ужасно нравилось восхищаться. О, как я был счастлив слушать этого соблазнителя, смеяться вместе со всеми! После каждой шутки, которую отпускал великолепный торговец, я устремлял глаза на соседей, пытаясь перехватить их взгляды, порадоваться вместе с ними, приобщиться. О, как он был красноречив, как я им восхищался, как его французский услаждал слух юного иностранца, прибывшего сюда пять лет назад

с греческого острова и изъяснявшегося по-французски весьма убого. Зачарованный, завороженный, словно в экстазе, я внимал ему, как собачонка своему хозяину, я ему верил, любил его. Я ведь был тогда маленьким идиотиком с черными кудрями, с длинными изогнутыми ресницами. Когда очередное пятно волшебно исчезало с одежды, я вновь бросал взгляд на соседей, дабы убедиться, что они оценили это по достоинству, чтобы насладиться их восхищением, слиться с ними. Я был счастлив, я улыбался продавцу, я гордился им, гордился его умением, его парижской речью, я любил его.

В кармане у меня было три франка, подарок матери ко дню рождения, и я решил пожертвовать половину на три палочки пятновыводителя: тогда торговец оценит меня по достоинству, проявит ко мне интерес,я долго смогу стоять рядом и слушать его на правах солидного клиента. К тому же мама так обрадуется! На моей одежде не останется пятен! Сердце мое колотилось, я был взволнован важностью такого шага—покупки, которая обеспечит мне уважение всех этих зевак и дружбу самого продавца, я сунул руку в карман своих коричневых штанов и вытащил громадную сумму, я тяжело дышал, не решаясь шагнуть вперед и попросить три палочки. Но в эту минуту, встретив глазами мою нежную улыбку десятилетнего мальчика, улыбку любви, продавец осекся и, потирая руки, молча уставился на меня, тоже улыбаясь, но мне вдруг стало страшно от его улыбки,—она обнажала два длинных клыка, и я почувствовал сильный прилив крови к голове, затем к груди, где-то в подвздошье, у меня перехватило дыхание. Он буравил меня блекло-голубыми глазами и нацелил на меня указательный палец, я весь взмок от страха.

X

—Послушай, а ведь ты жиденыш, да?—сказал мне белокурый продавец с тонкими усиками, которому я с таким обожанием внимал.

—Ведь ты грязный жиденыш, а? По твоей роже видно, что ты не жрешь свинину, а? Если ты и тебе подобные не едят свинину,

значит ты жадный, а? По твоей роже видно, что ты копишь золотые монеты, верно? По твоей образине видно, что золото ты любишь больше, чем конфеты, да? По твоей роже сразу видно, что ты грязный жид, а? Грязный жид, верно ? И твой папаша, конечно, занимается международными аферами, да? И ты жрешь французский хлеб, да? Дамы и господа, позвольте представить вам дружка Альфреда Дрейфуса, чистокровного жиденыша, находящегося на попечении отщепенцев. Я их сразу вижу, у меня наметанный глаз, и мне, да и всем нам не нравятся евреи, эта грязная раса, они все шпионят в пользу Германии, как этот негодяй Дрейфус, все они подлецы и мерзавцы, они отвратительнее чесотки, эти пиявки на теле несчастного мира, они купаются в золоте, курят дорогие сигары, а нам приходится все туже затягивать ремни, так ведь, дамы и господа? Катись отсюда,ты уже всем намозолил глаза, но ты не у себя дома, это не твоя страна, тебе здесь нечего делать, убирайся, проваливай, беги любоваться своим Иерусалимом.

XI

Вот что сказал мне торговец пятновыводителем, которому я доверился так безотчетно в день, когда мне исполнилось десять лет, и я заранее предвкушал удовольствие послушать такой славный французский язык, столь вдохновлявший меня, Я по-идиотски мечтал купить три палочки пятновыводителя, чтобы получше разглядеть продавца, чтобы понравиться ему, чтобы заслужить его уважение, чтобы завоевать право остаться и принять участие в этом волшебном представлении, чтобы любить и быть любимым.

О, как мне стыдно, когда я это пишу—такое признание дорого мне дается. Я бросил умоляющий взгляд на того, кто меня опозорил, пытался вымучить улыбку, чтобы вызвать у него жалость, неуверенную жалкую улыбку, болезненную слабую приторную еврейскую улыбку, призванную обезоружить своей женственностью и нежностью, слабую улыбку—мгновенную реакцию на испуг, который я тут же попытался скрыть, превратить в нечто вроде свойского, приятельского «да», дав понять, что я все воспринимаю как шутку, что это пустяки, что все хотят просто посмеяться, и все

мы останемся добрыми друзьями. Безумная мечта беззащитного, одинокого ребенка. Конечно, он меня пожалеет и скажет, что он просто пошутил.

Но мой палач оставался непреклонным, я вновь вижу его хищную улыбку, обнажающую длинны клыки, этот победный оскал, я вновь вижу его нацеленный в меня палец, повелевающий мне сгинуть, провалиться, и зеваки услужливо расступаются, одобрительно смеясь, чтобы дать пройти маленькому прокаженному изгою. Я повиновался, опустив голову, я подчинился, влачась сквозь гогочущий строй, следивший за моей вымученной улыбкой, улыбкой оскорбленного и униженного, улыбкой, которую они сочли бесстыдной и наглой. Всего несколько минут назад я подошел к столу продавца с улыбкой ребенка, а теперь уходил с улыбкой горбуна. Я подошел, предлагая им розы моего сердца, а они бросили мне в лицо, в мое наивное доверчивое лицо пригоршню оскорблений.

XII

И я побрел восвояси, представитель вечного меньшинства, спина моя неожиданно сгорбилась, а на губах играла обычная улыбка, и я побрел восвояси, навсегда изгнанный из рода человеческого, пиявка на теле несчастного мира, отвратительнее чесотки, я побрел восвояси, не скрывая улыбки, этой отталкивающей трепетной улыбки, улыбки стыда.

Но, свернув за угол, я стер с лица улыбку,—зажжем же десять розовых свечей,—и у меня появился недоверчивый, неискренный взгляд, взгляд больного звереныша, и я пошел, прижимаясь к стенам на десятом году жизни, вкрадчиво прижимаясь к стенам, побитая собака, отвергнутая собака. Еврей это прежде всего притворщик, утверждают антисемиты.

Красивый, с красивыми глазами, с прекрасными кудрями, вьющимися на ветру, с белоснежными зубами, я блуждал по марсельским улицам, не понимая, почему они все такие злые, чем я их

обидел, что я им сделал. Я остановился перед стеной, моей первой стеной плача, чтобы все понять, осмыслить. И моя спина вдруг сразу состарилась перед этой стеной, стеной плача, мой спина стала еврейской спиной и начала раскачиваться—это был ритуал моих предков, ритм жалоб и древних печалей, извечный ритм размышлений о горестях, спина согнулась, стала медитативной и неврастенической, на ней пробивался горб евреев, венец их бед, горб инородцев, которые слишком много думают, слишком многое переосмысливают и делают это в одиночестве. Это грязная раса, раса выскочек, утверждают антисемиты. Короче, затеплим же в прошлом десять розовых свечей.

XIII

Он брел, этот малыш, и ничего не понимал. В чем дело? Ведь он пришел доверчивый, открытый, радостный, чтобы послушать красавца-продавца, послушать его бойкий французский язык, который он так любил и с таким увлечением учил, он, мальчик, которого привезли сюда всего пять лет назад с греческого острова. Без всяких сомнений он подошел к складному столику, чтобы насладиться шутками продавца, повеселиться вместе со всеми, послушать смех, приобщиться к толпе и одновременно узнать кое-что новое в этом прекрасном языке, ставшем теперь его родным, чтобы раствориться и почувствовать там себя с в о и м, на своем месте. Он брел и ничего не понмал.

Что же он сделал вам, скажите вы, которые его изгнали, вы, которые смеялись над мальчиком, осмелившимся подойти к столу, чтобы приобщиться к вам, стать одним из вас, чем он перед вами провинился, этот красивый маленький мальчик, что он вам сделал, он, такой наивный, почти женственный, мальчик? Или весь грех в том, что тебя родили, не спросив тебя? О вы, проповедники любви к ближнему, вы, мастера распознавать евреев, что вам сделал этот безобидный мальчик, этот очарованный миром малаш, почему вы так озлобились на него, почему в радостный для него день десятилетия вы подарили ему издевательский смех?

XIV

Изгнанный торговцем и храброй толпой, я бродил, опозоренный, пристыженный, одинокий. Я слонялся по улицам, улицам Марселя, города, который я любил и люблю, где я провел свое детство рядом с матерью и отцом.Вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль отправиться на вокзал, сесть на поезд и уехать, бесследно исчезнуть. Но как пройти к вокзалу? Если я спрошу вот этого прохожего, он с первого взгляда догадается, кто я, торговец же догадался. Наконец, я решаюсь спросить у женщины, прикрыв ладошкой черты пришельца из древнего Ханаана. Когда женщина мне все растолковала, любезно растолковала, очевидно, не догадавшись, кто я такой, я бросился бежать, словно вор, к поезду, который должен был умчать меня от злых людей.

Прибежав на вокзал, я опомнился, забился в какой-то закуток и вволю наревелся. Закуток—это, конечно, поэтическая метафора. На самом деле я забился в платный туалет, заперся в кабинке, чтобы вволю пострадать, чтобы унять донимавшую меня боль в печенке, чтобы выплакаться на десятый год моей еврейской жизни.

XV

Да, в кабинке платного туалета, пристанище за два су, приюте, укрывшем меня от людской злобы. Там, в обществе цепочки, с которой свешивалась равнодушная фаянсовая ручка, я плакал в полном одиночестве. Там, отвернувшись лицом к бачку (какая безвкусица выбрать такое место для страданий), я плакал, там я рыдал, я знал, что я не злой, что я добрый мальчик, очень милый мальчик, который гордится своими кудряшками, который хотел восхищаться и вéрить, но больше всего любить и быть любимым, но почему, почему они стали смеяться надо мной, почему они так обрадовались, когда тот злой человек оскорбил меня и прогнал. Почему?—спросил я фаянсовую ручку, и опустился на пол.

Неловко устроившись на цементном полу, упершись плечами в унитаз, в кабинке платного туалета, я ничего не понимал. На моем лице застыли слезы, а я все пытался разгадать тайну этой ненависти, дергая прядь волос, упавших на лоб, я ее скручивал, раскручивал, скручивал. Грязный еврей, без конца повторял я, грязный еврей,—и пытался понять, чувствуя себя осужденным, загнанным, виновным, преступником, непонятно почему преступником, но преступником уже потому, что я живу.

XVI

В кабинке платного вокзального туалета меня била дрожь, я взмок от страха. Торговец сказал, что евреи—грязная раса, они все мерзавцы, негодяи, хуже чесотки. Этоужасно, думал я, неужели я злой, но только не знаю этого, вероятно, так себя чувствуют все злые люди. У меня кружилась голова. Значит, и моя мать, и отец тоже злые, но не понимают этого? Сдавило грудь.Я пытался разгадать эту тайну, ибо я верил всем, и верил всему, что говорили взрослые. Я вновь вижу себя в этом вонючем убежище, мои руки стиснули лоб, я пытаюсь успокоиться и мучительно думаю, стискивая детскими ладонями свой маленький лоб, пытаясь извлечь из черепа истину. Папа с мамой меня любят—значит они не злые! Разве можно любить и быть при этом злым? Как папа и мама могли быть добры ко мне, будучи в то же время злыми по отношению к другим?

У меня ныло в груди, я чувствовал отвращение к Богу. Почему в своей злобе он озлобляет евреев? Почему он меня создал евреем? Ведь меня никто никогда не полюбит! Уехать, сменить имя? Но мне невыносима даже мысль о том, что я их больше не увижу, моих дорогих, моих двух несчастных злодеев, которые ничего об этом не знают, не знают, что они злые, но ведь они не виноваты, что они злые. И, наконец, куда уехать? Я люблю только Францию. Заявить, что я больше не еврей, кричать об этом на улицах? Я стискиваю голову, сидя на полу в уборной. А я так мечтал стать полковником французской армии с тросточкой в руке! Больше никогда не буду мечтать. Все, с мечтой о полковнике покончено.

Тем хуже, я буду злым, если такова моя судьба! Буду любить деньги, ведь такова моя судьба, как заявил продавец пятновыводителя. Но что нужно сделать, чтобы полюбить деньги?

А почему люди злорадствовали, когда он прогнал меня? Ведь в толпе были те славные французы, которых я так любил. О, французы такие славные, я это давно знал, готов в этом поклясться! Может, по воле случая вокруг продавца столпились самые злые люди Марселя? Нет, такое невозможно. Тогда, если они не злые, но испытывали ко мне отвращение, значит, я это заслужил. Значит, я самый злой, родившийся в лоне религии,проповедуемой злыми людьми. Но что тогда сказать о наших патриархах, пророках? Вероятно, мы сильно изменились и непохожи на них.

XVII

Грязная раса, твердил я, вдруг вскочив на ноги. Опершись руками о стенку, я бился об нее лбом, но это ничего не изменило. Затем я стал лихорадочно спускать воду, дергая за фаянсовую ручку, просто так, машинально, лишь бы чем-то заняться, лишь бы забыть о своем несчастье, лишь для того, чтобы нарушить эту гнетущую тишину, вырваться из одиночества. Наконец, обезумев от горя, я стал обследовать трещины на сливном бачке, пытаясь разглядеь в нем свое отражение. Да здравствует Франция, бормотал я, словно в бреду, лишь бы только произнести спасительные слова, чтобы покончить с терзаниями, а может быть, доказать им, что они ошибались.

Будьте же милостивы, будьте же милостивы,—бормотал я, по-прежнему стоя перед унитазом, всматриваясь в грязный фаянс, пытаясь увидеть там отражение своей судьбы, тайну моего позора.

Вновь усевшись на холодный грязный цементный пол, я начал кусать носовой платочек, я мял его, тянул, пытался разорвать, потому что я был злой мальчик. Потом я глупо улыбался,скривив дурацкую гримасу. Затем в голове у меня вспыхнули слова рекламы, и я все повторял, повторял, что шоколад Менье—самый лучший, что стоит его попробовать, и вы уже никогда с ним не

расстанетесь. Затем, чтобы убить время или развлечься, я начал представлять какие-то унылые комедии при помощи пальцев левой руки, которые играли роль марионеток. Когда обрушивается несчастье, часто отвлекаешься такими глупостями,—я это понял в день моего десятилетия.

XIX

Да, человеку надо чем-то заняться, когда на него обрушивается несчастье.Когда на вас, абсолютно одинокого, наваливается беда, то люди, несчастные люди, отвлекаются самыми нелепыми занятиями: повторяют бессмысленные слова, твердят стихи, кусают платок, дергают нитки, ломают спички, складывают и расправляют лист бумаги, испещряют бумагу множеством крохотных рисунков и геометрических фигур, пытаясь отогнать мрачные мысли, сделать якорем спасения странные образы, не имеющего ничего общего с постигшей их бедой, пытаются убаюкать себя словами и жестами, притупить боль бесконечным анестезирующим повторением, таким нелепым, если наблюдать со стороны, спрятать несчастье за словами и жестами, отгородиться ширмой из крохотных бесполезных занятий, чтоб только не видеть бездны бедствия, чтобы тем самым не признавать само существование несчастья, отрицать его с помощью простых привычных слов, жестов, с помощью обычного, а не таинственного, и это становится магией, заклинанием, жертвой страшному несчастью, мольбой к нему отступить, отдалиться.

Люди, бедные люди, собратья мои, они так нуждаются в улыбке, когда на них, одиноких, обрушивается несчастье,—чтобы сберечь надежду, а, возможно, в нелепой вере, что ничего ужасного не произошло и они по-прежнему счастливы, или потому, что они заблуждаются и верят в милосердие улыбки, в то, что улыбающийся человек непременно счастлив, а, возможно, чтобы отогнать злых духов несчастья таинственной силой веселья, чтобы обмануть беду, перехитрить, заставить отступить, доказать, что она ошиблась адресом, заявившись к счастливчику, или, может, чтобы увериться самим и убедить несчастье, что его вовсе не было,

а, может, чтобы просто вызвать жалость к несчастному, который продолжает улыбаться, к невиновному, который заслуживает, чтобы его пощадили. Возможно, в силу всех названных причин, или хотя бы некоторых из них... Но я знаю одно—улыбаясь и шепча Франции слова любви, заставляя плясать своих актерчиков, пять пальцев моей руки, сидя на цементном полу, опершись плечами о стульчак платного туалета, я в своих грезах, созерцая танец моих пальцев, пытался осознать мой грех, состоявшийся только в том, что я родился.

XIX

Нынешним дождливым утром у меня вдруг возникла симпатия к торговцу, которого я увидел, когда мне было десять лет, и одновременно жалость, какая-то нежная жалость. Я вдруг увидел его таким, каким он и был на самом деле, ведь я его брат, близнец, и через жалость к нему, нежную жалость, я становлюсь им самим, хотя снова отчетливо вижу его, белокурого, с тонкими усиками, бедного сына бедных родителей, бедняка, обделенного способностями, выискивающего врага, повинного в его нищете,—он считает свою ненависть справедливой, даже похвальной и этим утешается. Мало того, этому несчастному, страдающему комплексом неполноценности и презираемому, очень приятно чувствовать свое превосходство, демонстрируя свою ненависть. Я чувствую жалость к нему, нежную жалость, какое-то даже удовлетворение при мысли, что этот бедняга все-таки познал миг славы и могущества,когда прогнал еврейского ребенка.

И вдруг, завороженный этим нежным ласковым дождем, я начинаю понимать, что истинное прощение—это не подчинение религиозной заповеди, это не обязательство притворного великодушия, не ложная вера, что за мной неоплаченное оскорбление, не отказ от возмездия (в глубине души жажда мести), не гордыня и не самовосхищение. Я вдруг понял, что есть истинное прощение.

Истинное прощение означает понимание, что человек, меня оскорбивший, это мой брат, мой собрат по смерти, будущий муче-

ник, испыта́ющий предсмертную агонию, позна́ющий все ужасы долины страхов,—уже одним этим он достоин жалости, сострадания, у него есть все права на меня, высочайшие права, провозглашенные его грядущим несчастьем, от которого не скрыться,—как же мне его не простить?

Воистину простить—значит, понять, что нанесенное мне оскорбление было неотвратимым, понять, что через жалость и сострадание я сам преображаюсь, становлюсь своим несчастным мучителем, я знаю этого невинного злодея, этого калеку, не ведающего, что он творит. Да, он невиновен, разве можно его винить за то, что он такой, каков есть; как его судить, упрекать за то, что он содеял, если он не мог не сделать этого? Как же не простить его?

XX

Теперь чуть-чуть о счастье, чуть-чуть о счастье. Прежде чем продолжить рассказ и сообщить, что было потом, хочу вспомнить о безоблачной поре до того дня, когда мне исполнилось десять лет, рассказать о ребенке, которому предстояло быть отмеченным клеймом ненависти и позора.

Насколько я помню, я очень любил цветочки и птичек, любил рассказывать самому себе страшные фантастические истории, не уставал дивиться всему вокруг, всем восторгался, мгновенно влюблялся, рос неисправимым мечтателем, совершенно не приспособленным к практической жизни, ни о каких международных сделках и всемирном заговоре, о каком они твердят, и речи быть не могло,—я рос слишком робким, легко краснел от любого пустяка, любого чувства, был робким, влюбчивым, как дурак, слишком нежным бедным ребенком.

Вдруг я вспоминаю тот жаркий августовский полдень накануне встречи с продавцом пятновыводителя. Я слышал женский голос вдалеке, он пел романс о разлуке с возлюбленным, о том, что они никогда больше не увидятся, и в душной тишине своей

комнаты маленький безумец переживал боль и страдания покинутой несчастной женщины, плакал, рыдал из-за их разлуки, смешно всхлипывал, уронив голову на край стола.

Да, бедный доверчивый ребенок, мгновенно отзывающийся на любовь, вдохновенно дарящий своим маленьким вероломным друзьям игрушки и полученные от матери конверты с деньгами, испытывающий восторг и изысканное удовольствие от подчинения старшим, от их поздравлений, трогательно жаждущий быть любимым, обожающий читать жизнеописания великих французов и тайно устроивший у себя в комнате—смейтесь, антисемиты!—алтарь, посвященный Франции.

XXI

Только вообразите себе (я заслужил вашу иронию), представьте себе, что я благоговейно разместил на полке шкафчика, запирающегося на ключ, временный алтарь, нечто вроде пантеона, украшенного маленькими свечками, осколками зеркала, агатовыми шариками, донышками стаканов из цветного стекла и крошечными кубиками, которые я смастерил из фольги. Среди реликвий были портреты Лафонтена, Корнеля, Расина, Мольера, Наполеона, Виктора Гюго, Ламартина, Пастера. Да, я уже писал об этом в другой книге, но мне кажется, что об этом нелишне упомянуть здесь. Я любил Францию, ненавидел пруссаков, я был реваншистом и шовинистом, и я обожал Жанну д'Арк. Франция принадлежала мне, а сам я стал ее частичкой. Но мне показали, что я ошибся, слишком много себе вообразил.

На моем алтаре лежала разбитая фигурка Верцингеторикса в картонной розовой коробочке, куда дантисты обычно складывают удаленные зубы. Там стояли оловянные французские солдатики, маленькие французские знамена, изодранные мной, чтоб они выглядели боевыми стягами, фотографии храмов, Эйфелевой башни, игрушечная французская пушка, водруженная на кружевной бумажной салфетке рядом с президентом республики Эмилем Лубе, которого я свято чтил и считал гением. Властелин Франции, меч-

тательно шептал я, благоговейно взирая на него, и трепетал от переполнявшей меня любви к этому человеку. Еще там была фотография некоего полковника; его звание казалось мне самым славным из всех, самым недостижимым, куда более высоким, чем звание генерала, Бог знает почему... Возможно потому, что слова colonel и monocle казались мне родственными и особенно изысканными. В золотую бумажку был завернут волосок, который мой однокашник, большой любитель подшутить, принес мне, утверждая, что это волос героя Французской революции, и уступил мне его весьма недорого, кажется, за пятьдесят абрикосовых косточек. В картонке под Триумфальной аркой лежала золотистая коробочка, украшенная трехцветными лентами,— в ней хранились пакетики с землей из французских колоний, эти пакетики я приобрел все у того же шутника-одноклассника, который обрел в моем лице надежного, постоянного и солидного клиента. Там было еще много всякой всячины. Там была еще моя горячая любовь к Франции и мое горячее желание всегдабыть рядом с ней. Там был наивный и священный энтузиазм, которого я не стыжусь и который никогда меня не оставит. Я ведь так и остался тем ребенком.

На моем маленьком алтаре лежали какие-то афишки и до сих пор звучащий в моем сердце призыв «Да здравствует Франция», который я старательно вывел черными и красными чернилами. Рядом с подставкой для яйца, украшенной изображением хилого цыпленка, в котором было нечто раввинское, лежала маленькая поэма, сочиненная мною в честь Франции, в самой же подставке хранились бумажные цветы, которые заслоняли фотографию моей любимой канарейки, ярко-желтой, как огонь. В притворах крохотного храма, посвященного Франции, я хранил предвыборные листовки, которые раскрасил собственноручно, на них я начертал патетические изречения, такие, как «Слава Франции», «Свобода, Равенство, Братство». Ползучий еврейский заговор. Прямо-таки Протоколы сионских мудрецов.

Чтобы еще более усугубить свой провал и на славу позабавить публику, признаюсь, что вечером, перед тем, как улечься в свою кроватку, я закрывал дверь своей комнаты на два оборота ключа,

снимал с шеи другой ключ—на шнурке, и открывал святая святых. Я зажигал свечки на полке заветного шкафа, в моем пантеоне Франции, и, стоя на коленях, без снисхождения к себе, готовый вынести любые насмешки, всем сердцем славил величие Франции, которую боготворил, и обещал, что буду служить ей всю жизнь. Любимая Франция,—повторял я. Любимая Франция,—говорю я сегодня, сейчас, когда пишу эту книгу.

XXII

И вот этого милого ребенка, влюбленного во Францию, белокурый продавец пятновыводителя прогнал, опозорил, обрек быть вечным изгоем, его, этого малыша, который восхищенным взором провожал каждого встречного французского генерала, провожал взглядом долго, пока тот не скроется из виду, провожал взглядом просто так, из любви к французскому генералу, чтобы всласть наглядеться на него, чтобы вручить ему свое сердце,потому что он был счастлив стоять в двух шагах от выдающейся персоны с кривыми ногами и восхищаться ею.

Этого славного малыша, влюбленного во Францию, продавец изгнал из страны, изгнал фанатика, только что мечтавшего оказаться на фоне сине-бело-красного знамени, который не мог равнодушно слушать гимн Франции—его кожа мгновенно покрывалась мурашками, в своей комнате он ставил на граммофон пластинку с «Марсельезой» и замирал по стойке «смирно» перед национальным флагом, этот поэт, этот дурачок отдавал воинскую честь, возбужденно всматриваясь в себя, отраженного в зеркале, а губы его дрожали от патриотического восторга. И этого малыша, одержимого священным детским обожанием Франции, торговец проклял, осудил быть вечным изгоем, отправил в невидимый концлагерь, концлагерь в миниатюре, я это знаю, в концлагерь, предназначенный только для души.

После той памятной встречи с продавцом я не мог взять в руки ни одной газеты, чтобы не повторить того слова, которое обозначало то, что я есть на самом деле, то, что видно с первого взгляда.

Я повторяю и рифмующиеся с ним слова—с этим прекрасным скорбным словом, я повторяю созвучные ему слова, повторяю постоянно. Думаю, что этого достаточно.

XXIII

Любимая Франция, говорил я себе в детстве... любимая Франция, повторяю я и теперь, когда пишу, уже в почтенном возрасте, повторяю перед смертью... Франция, которая подарила мне любимых друзей—умных, живых, энергичных собеседников со стремительной французской речью, Франция, открывшая мне неизвестных читателей моих книг, дорогих мне незнакомцев, которые пишут мне письма, признаваясь в своей любви, Франция, которая меня, иностранца, удостоила своим языком, Франция, одно только название которой так приятно повторять.

Франция, эта величественная королева, приближающаяся ко мне легкими шагами гения, приближающаяся ко мне Франция, моя нежная смешливая любовь с ясными глазами, живая, светлая, чувственная, куртуазная, рассудительная и восхитительная, обворожительная, наделенная столькими прелестями и чарами, щедро осыпавшая меня бесценными дарами, лукавая, неуловимая и рассудительная, патетическая, ироничная и великодушная, глубокомысленная и опалающая страстной речью.

Франция, юная мать и богиня разума с пылающим взором, задумчивая, в золотистом шлеме, увенчанная сфинксом, с копьем и щитом, щедрая и суровая Франция, одна из моих родин.Я—твой вассал, твой незаконнорожденный чужеземный сын, любящий тебя, ты сделала меня тем, кем я стал, вскормила меня своей материнской грудью, ты создавала меня по образу собственного гения, прародительница языка, верховная жрица, ты дала мне свой дивный совершеннейший язык, который стал моим, стал родиной моей души.

XXIV

Еще капельку счастья. Теперь я расскажу вам о Вивьен, о моей любви, которая длилась ровно год, до того дня, когда я встретил продавца пятновыводителя. После я уже не встречался с Вивьен, это было выше моих сил, ибо теперь-то я знал, что она никогда не полюбит меня, ведь я был злым ребенком, мерзавцем, был отвратительнее чесотки. Но до того дня, когда я открыл, что существует ненависть,много месяцев, все вечера подряд, я, зарывшись в кровати, укрывшись с головой, наедине с самим собой, в великой тайне, улыбаясь от наслаждения, закрыв глаза, рассказывал себе чудесную историю о Вивьен, мой первый роман, во всех подробностях, одних и тех же, но каждый раз рассказанных по-новому. Вивьен никогда не было, но она была моей возлюбленной.

В этой истории, которую я придумал, когда мне было девять лет, после землетрясения в Марселе, я встретил Вивьен, прекраснейшую девочку на свете. Она была моей ровесницей, у нее были очень красивые ноги в коротких носочках. После землетрясения в живых остались только мы вдвоем,волею небес мы встретились в подвале какого-то богатого дома. Это подземелье устилали дивные ковры, горели свечи, там бил родник, там были книги всех великих французских псателей, не говоря уже о запасе деликатесов, бисквитов, консервов, фруктов, нуги, засахаренных фруктов, шоколадных трюфелей. Что может быть замечательнее? В ящике лежали свечи и спичечные коробки,—значит, нам не придется сидеть впотьмах. Сперва в нашем подземелье была одна ванная комната. Потом, чтобы Вивьен не смущалась, появилась вторая, она наполнялась одеколоном. И спален было две. Все входы в подвал оказались после землетрясения заваленными камнями и обломками. Итак, мы очутились под спасительным крылом и нам предстояли долгие безоблачные дни.

Поужинав английскими бисквитами и всевозможными вареньями, включая восхитительные черные вишни, моя милая Вивьен садилась за фортепьяно (уже не в носочках, а в шелковых чулках) и напевала мне печальные песни. Растроганный до слез, я

слушал ее, я никогда прежде не видел таких прекрасных ног, обтянутых тонким шелком. Томно улегшись на диван в блестящих туфельках, как у наездницы, она что-то прочитала мне с легким английским акцентом, а я любовался ею, испытывая невероятное блаженство, но помня о своем приличном воспитании. Время от времени она умолкала, пристально гляда на меня, и на лице ее, обрамленном кудрями, длинными мягкими локонами, мерцала улыбка, она дарила ее мне, моей верной любви. Она предложила мне придвинуться, чтобы я лучше мог рассмотреть рисунок в книге. Я придвинулся, мы смотрели друг на друга, не в силах оторваться, и ее кудри нежно ласкали мою щеку. Потом она взяла мою руку, сильно ее сжала и поклялась, что ей нисколько не жаль своей прежней жизни, своего родового замка, своей челяди, пышных балов, прогулок верхом по аллеям парка. О, вздыхала она, если только мой отец, виконт, не откроет нашего милого уединения, я буду так счастлива с вами, дорогой Альбер. Одним словом, я пребывал в раю, я умирал от любви и гордости.

Вечером, когда часы пробили десять, Вивьен, пожелав мне доброй ночи, подала мне руку, чтобы я ее поцеловал, и мы поклялитсь любить друг друга вечно, всю жизнь. Все это я рассказывал себе по вечерам, зарывшись с головою в постель, я улыбался Вивьен, зажмурив глаза, чтобы лучше ее рассмотреть. Я был так юн, что даже не знал о злых людях, и моя мама была еще жива.

XXIV

И снова о счастливых временах, когда я еще не повстречал торговца пятновыводителем. Утром, едва проснувшсь, разбуженный скрипом крестьянских повозок, везущих овощи на рынок в Сен-Жюльен, я встретил маленького ослика, которого мне давнымдавно, несколько месяцев назад, когда мы проезжали через Марсель, обещал дядя Арман, так и не сдержавший обещание. Но я все надеялся, я верил взрослым. Я убеждал себя, что дядя пожалел ослика, хочет уберечь его от тягот переезда из Парижа в Марсель по железной дороге, поэтому решил купить его здесь, когда снова приедет в Марсель. Мы вместе купим. Долгие месяцы я каждый вечер думал об этом ослике, даже придумал ему имя—Шарман.

Чудесное имя. Шарман стал моей мечтой, моей любовью, моим лопоухим мессией.

Милый, шептал я, лежа в постели, Шарману, вот увидишь, как тебе будет хорошо со мной, я стану тебе другом, вот увидишь, у тебя будет замечательное стойло во дворе, которое я сам буду убирать каждый день, ты сможешь всласть выспаться утром, у тебя будет маленькая повозка из красного дерева, как мне обещал дядя Арман, тебе не придется возить тяжести, только меня, у меня будет изящный кнут, но, конечно, не для того, чтобы тебя хлестать, а просто им размахивать и щелкать, ты можешь останавливаться, где захочешь, как только немного устанешь, и я буду тебя нежно гладить, ведь ты нуждаешься в привязанности, потом я украшу твой хомут цветком, и ты станешь таким же кокетливым, как все вокруг.

Я прилежно ухаживал за Шарманом, этому меня научил Каликст, старый крестьянин-горбун, который на своей повозке, запряженной мулом, привозил нам по утрам свежие овощи. На завтрак и обед, объяснял я Шарману, лежа в постели, у тебя будет сено, клевер и немного ячменя, а по воскресеньям я буду кормить тебя овсом, но не больше килограмма, потому что овес действует на нервную систему, как сказал мне Каликст, а на десерт, если ты будешь хорошо себя вести, будут капустные листья и салат, немного сахару (если много, это повредит тебе), а чтобы ты все это хорошенько переварил, добавлю щепотку соли, как советует Каликст, я буду тебя баловать, вот увидишь. Удобно облокотившись на подушки, я потчевал Шармана солью, высоко держа руку, чтоб он меня не укусил—нечаянно, конечно, ведь он меня очень любит. А если ты вспотеешь после бега, добавлял я, я досуха вытру тебя соломой, так велел Каликст, и ты увидишь, как это приятно, ты будешь доволен.

Лежа в кровати, надев рукавички, чтобы быть похожим на возничего, я, крепко держа поводья, сдерживал Шармана, бранил, когда он пускался вскачь, остерегал, чтобы он не сломал ногу. Еще я рассказывал о радостях, которые ждут его впереди, о сладкой

морковке, которой он будет лакомится, я чистил его каждый день, старательно, аккуратно, беседуя с ним, так как он был немного нервным, его копытца я начистил черной ваксой, чтобы они лучше блестели, английской ваксой, потом мы вместе совершали прогулку, и я никогда его не понукал, ведь мы были друзьями, я просто говорил: вперед, мой друг! А если дорога шла в гору, я спешивался и подталкивал повозку сзади, а когда мы возвращались в город, я распрягал Шармана, и он занимался, чем хотел, скакал, резвился на траве, он был доволен, он приходил ко мне и терся носом, благодаря и показывая, как он меня любит. Счастливый, я выскакивал из постели, с воплями, воплями любви: Шарман, дружище, дорогой мой!

Ну, хватит о счастливом времени. Счастье подошло к концу. Завтра вновь начнутся переживания из-за того дня, когда я встретил торговца, дня моего несчастья, дня моего десятилетия, а теперь надо соснуть, надо поудобнее устроиться в своем гробу. Сон—одно из воплощений счастья.

«Ты ведь грязный жиденыш, а?»—повторял я, сидя в кабинке платного вокзального туалета. «Грязный жиденыш, а?»—повторял я, пытаясь понять эти слова торговца, этот неожиданный приговор, который вдруг превратил меня в прокаженного, это невероятное обвинение, которое потрясло меня в десятилетнем возрасте. Подарок в день рождения! А мама в это время готовила дома праздничный обед, не зная,что со мной произошло. Уже накрыт стол, прекрасный стол с громадным тортом, украшенным десятью свечками, и бутылка прекрасного вина,и мама, не знающая, что я плачу в кабинке вокзального туалета. Слезы лились из моих огромных глаз—смешно, а?—они катились по моим щекам, оставляя грязные разводы, а я кусал стучащими зубами губу, похожую на спелую вишню, сдерживая рыданья. Грязный еврей, грязный еврей, повторял я, иступленно повторял эти слова, и мое лицо опухло от слез; стоя перед зловонным толчком ватерклозета,я пытался понять, пытался разглядеть свою будущую судьбу...

Вновь разглядываю фотографию, сделанную после той памятной встречи с продавцом пятновыводителя, одну из фотографий,

всегда вызывавшую во мне беспокойство: удивленные, растерянные глаза, полуоткрытый рот, словно отрицающий, молча отвергающий страшное обвинение, доказывающий мою невиновность. Я вновь смотрю на потрясенного мальчика, и мне жаль его, нет, не себя, мне уже все равно, ведь со мной скоро будет покончено, а того славного малыша, который ничего подобного не заслужил. Если бы вы договорились ненавидеть евреев только старше шестнадцати лет, вы бы оставили им чуть больше времени для счастья.

XXVII

Да, я знаю, я верю, папа и мама милые, добрые люди, я их люблю, и я тоже добрый и милый!—спорил я в кабинке вокзального туалета, гневно топая ногой, чтобы убедить себя, убедить толпу. Я очень, очень добрый,—всхлипывал я, упершись лбом в стену,мое тело содрогалось от плача, это несправедливо, это вы злые, вы евреи, а не я!—как в бреду повторял я. Я вас ненавижу, вы отвратительные, я хочу,чтобы вы меня любили, ведь я же вас люблю,—рыдал я, не заботясь о логике, без конца сморкаясь в платок. Шмыгая носом, я написал на стене вокзального платного туалета огрызком карандаша детские глупости, вроде «Будьте добрыми!» и даже «Любите друг друга!», что, конечно, не очень убедительно и ничего, в сущности, не меняло. Наконец, я достал из кармана штанов последнюю конфету и отправил ее в рот, чтобы хоть немного подсластить горечь.

Обессилев, сразу постарев (заныла печень), я, десятилетний Альбер, улегся на полу, прямо на холодном грязном цементе, и лежал долго слезы высохли, а я все лежал, открыв рот, отупевший, думая о своем десятилетии, о десяти еврейских годах, которые вдруг ожили и вставали предо мной. Иногда, лежа, я произносил магическое слово—Соломон или Гилкс—в мессианской надежде, слабой и хрупкой что это слово отведет от меня все беды, сделает так, что продавец никогда непрогонял меня, что я вдруг очутился дома с моим сокровищем—мамой. Иногда я совершал какие-то ритуальные жесты, пытаясь отогнать несчастье, как отгоняют муху, и раздавить его, как отвратительное несекомое. И все равно я

оставался несчастным евреем, лежащем на холодном цементном полу маленького концлагеря. Что с него взять, с жида. Подумаешь, жид лежит! Это не больно, жиды.

И вдруг меня осенило, я понял, что позже, да-да, позднее, когда я стану большим, я отомщу самым деликатным и поучительным спосоом. Я поклялся, что когда вырасту, то скажу им с вершины горы, расскажу, как они поступили со мной, маленьким и беззащитным. Да, я расскажу им все, и они заплачут от стыда, но я прощу их, явив огромную, даже величественную доброту, я улыбнусь и мы обнимемся,—мы, добрые люди, которые останутся такими навсегда. Бедный маленький дурачок.

Только для того, чтобы сдержать обещание десятилетнему ребенку, я с грустью пишу эти страницы, без всякой надежды. Ибо я знаю, что, прочитав их, люди не заплачут и не возлюбят меня больше, чем тогда. Наоборот, многим эта история покажется отвратительной, а кто-то выслушает ее с ироничной улыбкой. Я знаю людей, и я знаю, что давнее желание подстерегает меня в тех ужасных стенах—давнее желание умереть.

XXVIII

Когда, наконец, я решился выйти из кабинки, я отдал все деньги служительнице туалета, которая, возмутившись моим затворничеством в кабинке, бешено колотила в дверь, требуя, чтобы я немедленно вышел, что я там засел с утра и уж не молюсь ли я там, и вообще какого черта торчу там так долго? Царственным жестом я отдал ей деньги, чтобы утешить ее, а, вернее, отомстить ей. Выйдя на улицу, я отправился, куда глаза глядят. Теперь я стал евреем, и шел робко, заискивающее улыбаясь дрожащими губами.

Вдруг я увидел на стене написанное мелом «Смерть евреям». Я задрожал и бросился прочь. Но, завернув за угол, снова увидел «Смерть евреям». Они требовали моей смерти! Но почему прежде я не видел на стенах эти слова? Преследуемый, загнанный, проклинаемый, я опустил глаза, чтобы не видеть этих слов.

Опустив глаза, я шел по пустынной улице. Но иногда, украдкой, я поднимал их и впивался глазами в стену, испытывая ужас, что вновь прочту эти два слова, и все же хотел их видеть, чтобы испытать какое-то непонятное удовлетворение, чтобы увидеть эти два слова, эту заповедь любви, любви к ближнему, их любви.

XXIX

Смерть евреям, повторял я на улице, словно эти два слова были единственными понятными моей душе словами. Неожиданно я услышал шаги, песню и быстро спрятался за писсуар. С чувством вины, защищенный этой вонючей цитаделью, окрашенной в меланхоличный зеленый цвет, я разглядывал студентов в дурацких бархатных беретах, которые шли мимо и горланили, уверенные в завтрашнем дне, эти изящные цветы образованности, сынки своих папаш, они горланили, считая себя вправе быть счастливыми, они не боялись орать и привлекать к себе внимание, ведь они были у себя дома, в своей стране. Я же был беззащитным чужаком и, вероятно, поэтому они меня ненавидели. Они веселились, я грустил, такой не по годам старый, такой усталый, такой оборванный, такой дряхлый и поникший. О, эти веселящиеся студенты, по́шло тратящие молодость, эти «счастливчики», знающие, что их ждет завтра, нотариусы или врачи, офицеры или чиновники, эти везунчики, которые завтра осчастливят своих избранниц,—им уготован прямой путь от колыбели до могилы родителями, родственниками, друзьями, университетами, родиной. Разумеется, я был слишком мал, чтобы все это ясно выразить, но я чувствовал— им в будущем ничто не грозит, жить им будет просто, а мне трудно.

Взяв друг друга под руки, студенты остановились и затянули песню о трех золотых дел мастерах, которые пришли отобедать к трем своим коллегам, эту песню я до конца не понял, но догадался, что у нее какой-то гнусный смысл. Из своего укрытия в писсуаре я смотрел на них с завистью, и снова стал раскачиваться взад-вперед, будто переливая из пустого в порожнее, с незапамятных времен. Они счастливчики, эти студенты. Но разве они заслужили свое счастье? Я продолжал раскачиваться, как помешанный, я

глотал и пережевывал воздух, и мне казалось, что у жизни дрянной вкус. А те собратья, шатаясь, хохоча, держа друг друга под руки, горланили озорную, вполне буржуазную песенку, потом они стали кричать: Да здравствуют студенты! Да здравствуют студенты! Да здравствуют студенты!—и неожиданно я почувствовал покой. Хорошо, что в мире существуют не только евреи, что есть счастье для других. Утешившись в своем несчастии счастием других, тех, кто веселился и горланил передо мной, я продолжил свои скитания.

XXX

Я вынырнул из переулков и в одиночестве зашагал по Канбьер, разговаривая сам с собой, призывая мужество, давая себе мудрые советы, жестикулируя, чтобы утешиться на этой широкой, шумной улице, залитой ярким солнцем, в полдень, когда на террасах кафе сотни людей потягивают абсент, они счастливы, но на меня смотрят подозрительно, обмениваются многозначительными усмешками. Они все уставились на меня, показывая знаками друг другу: приближается еврей,осторожнее, заприте все двери на два оборота ключа! Я узнавал их, они были похожи на того торговца. О, как они были счастливы, эти злые люди! О, как они злы, эти счастливые!

О, разразится страшная эпидемия, чтобы лишить всех этих счастливцев, сидящих в кафе, безмятежности! Нет, не эпидемия, опомнился я,—я не такой, как они, я никогда не буду злым. Нет, не эпидемия, а пистолет, очень похожий на настоящий, чтобы испугать этих людей, пригрозить им: любите меня, или я вас убью! Довольно, хватит обращать на них внимание. Какое мне дело до этих расфуфыренных обезьян, которые заважничали, встав на ноги? Какой-то бородатый толстяк осклабился, его пальцы унизаны перстнями, искрящимися голубовато-белым мерцанием камней: мой дорогой, да это же еврей, этим вс[illegible] сказа[illegible] Я взглядом умолял его не выдавать меня, страшную т[illegible] рождения, в грудь вонзилась боль.

XXXI

Перед кафе «Гласье» слепой играл на шарманке. Я остановился, смущенно чувствуя какую-то связь между моими страданиями и страданиями этого несчастного, но не осмелился с ним заговорить и пошел дальше, размахивая портфелем, что-то бормоча. Главное, не впасть в тоску. Боль тут же использует трещину и проломит брешь. Чтобы обрести вновь интерес к жизни, чтобы забыть, кем я был, я надавил пальцем на глазное яблоко—теперь я видел две улицы, одну настоящую—вверху слева, она шла по другой, расположенной правее и ниже. Маленькое развлечение. Каждый делает то, что умеет. Потом я изображал слепого, зажмурив еще левый глаз. Потом что-то напевал, бормотал, что я вовсе не несчастный, что мне плевать на торговца, что у меня есть мама, которая меня любит, и этого вполне достаточно.

Чтобы заглушить боль, я все время, не останавливаясь, пел, как студенты, я напевал: да здравствуют евреи моя мать да здравствуют евреи которые злые и любят денежки других злых евреев! Еще я пел, что Дрейфус мой друг, единственный друг, что он меня любит, как нежный любящий брат. Потом, одурев от отчаяния, я стал коверкать слова, вместо флага родины у меня получалась фляга родины, из Марсельезы—Татарсельеза, я переделывал слова, пытаясь убедить себя, что мне весело, что этим смехом я могу отомстить за себя.

Вдруг я остановился, уставившись на турецкое кафе. А правда ли он был, тот продавец? А эта улица действительно Канбьер, и она существует? И все эти люди на самом деле живые? Своим щенячьим умом я пытался постичь великую тайну. Зачем все это, почему существует несчастье, откуда взялся этот нищий, которого не замечают откормленные господа, сидящие в кафе, откуда взялся этот бродячий певец, которого никто не желает слушать, и зачем он вкладывает столько любви в свое ремесло, почему я так одинок на улице Канбьер, один со времен Карла Великого, одинокий малыш, без друзей, всеми презираемый, ради чего я пришел в этот мир, что мне здесь делать, почему я еврей?

XXXII

До меня донеслись голоса, напомнившие, чтобы я убирался, здесь не любят евреев, столики ненавистной террасы закружились каруселью, они вращались все быстрее, уже не столы, а изломанные темные полосы, голова закружилась, земля словно растягивалась, качалась и я покачнулся вместе с ней. Я перебежал с тротуара к стене, недалеко от синематографа «Макс Линдер». Любите меня, шептал я, любите меня, шептал я, выпрашивая любовь, как подаяние.

Головокружение прошло. Я понял, что меня может излечить только разговор с людьми, и зашагал по улице. Остановился возле газетного киоска, где два толстяка читали газеты, выставленные в витрине. Надеясь завязать беседу, я подошел к одному из них,но он, едва увидев меня, поспешно отошел в сторону.

Толстяки не проявили ко мне интерес, хотя я очень старался. Увидев в газете фотографию дирижабля, я подробно описал будущее этого удивительного изобретения, те блага, которые дирижабли принесут нашей цивилизации, но я слишком уж улыбался, слишком уж пытался заинтересовать их, из-за несчастья, свалившегося на меня, и прилива нежности, я лихорадочно спешил понравиться, хотел, чтоб меня полюбили, а это, конечно весьма подозрительно. Я слишком торопился, спеша высказать нечто значительное, из-за чего меня сразу полюбят. Изголодавшись по любви, я, славный малыш, вызывал неприязнь. Моя восторженная улыбка отталкивала их. О, эта глупая надежда, что если ты добр и умен, тебя непременно полюбят. Тогда я еще не знал, что мужчины больше всего на свете любят власть, дающую им право убивать. Я чувствовал враждебность двух толстяков, понимал, что иду ко дну, но продолжал громко говорить, не ожидая ответа, все еще надеясь удивить толстяков своим рассказом об Икаре, отчаянно пытаясь заинтересовать их подробностями гибели сына Дедала. Ужасные молчуны обязаны мне ответить, они должны полюбить меня, ведь я рассказал им столько интересного, но они ушли, я слышал, как они смеялись.

Однако я не считал себя побежденным, я пристал к каким-то людям, пытаясь вместе с ними обсудить, за что двое полицейских арестовали матроса. Я хотел быть вместе с ними, побрататься с ними, стать любимым, да, прежде всего стать любимым. Я спросил одного из зевак, за что арестовали матроса, но не сдержал улыбки. Все пропало! Глупая улыбка все испортила! Сжав тонкие губы, человек стал внимательно разглядывать меня. Я поспешил скрыться за углом. Он догадался! Я шел довольно долго. Чтобы исцелить себя, привести себя в чувство, я радостно приветствовал почтенного господина, словно давно был с ним знаком, и тут же в страхе побежал прочь.

XXXIII

Устав от скитаний, я брел бесцельно, бездумно, не чувствуя тела, оно казалось мне чужым, оно двигалось само по себе, без моего участия, а голова пылала жаром, я тупо повторял навязчивый мотив, дирижируя правой рукой, на меня глазели из окон, на меня показывали пальцем, внутренний голос заклинал меня бежать, но по пятам за мной шла карлица с тяжелой ношей, в желтом шелковом платье и золотистых туфлях-лодочках, карлица без шеи, ковыляющая на мускулистых ногах, Нина, я чувствовал за спиной ее дыхание, она задумала броситься на меня сзади, вгрызться зубами в затылок, стиснуть в обьятиях, и хотя я знал, что ничего этого нет, не существует никакой карлицы, но я очень испугался и не осмеливался оглянуться.

Друг мой, любовь моя, шептал я, и останавливался, встряхивался, тер лоб, изгонял боль; я вспоминал, как танцевал перед церковью, расположенной в парке Мейлан. Да, правда, я танцевал, воздев руки к небу, затем, покрыв их поцелуями, глядел на них, точно зная, что Господь их увидел, да, я танцевал перед церковью, перед всеми дарами мира, но люди об этом не догадывались, ведь я все хитро расчитал и замаскировал свою игру. Вернуться к церкви, тайно танцевать перед ней—это и есть спасение.

XXXIV

Стоя перед церковью, я разглядывал ее, улыбался ей, говорил ей слова любви. Да, думал я про себя, вот передо мной дом милосердия, этот храм, все оставляют свою злобу на его пороге, они оставляют ее вместе с верхним платьем, получив взамен номерок от гардеробщицы, а выходя, они вновъ забирали свою злобу в обмен на номерок—на всю неделю; сойдя с паперти, эти люди спешили возненавидеть евреев.

Да, в церкви они чувствовали себя добрыми людьми, верили, что они милые добрые люди, ведь они прилежно распевали псалмы, вкладывая в них всю свою доброту, и, возможно в такие минуты на самом деле были добрыми и милыми, но выйдя из храма, они забывали свою доброту, они мчались, чтобы скорее намалевать на стенах «Смерть евреям».

Нет, это не правда, это мне просто кажется, какие-то зверьки мельтешат в голове, потирают лапки, пищат, а у меня раскалывается голова, нет, настоящие католики не могут ненавидеть евреев и писать на стенах гнусные слова, истинные католики добрые люди. Хватит, хватит танцевать.

Нет, танцуй еще, ради Иисуса, лик которого висит прямо перед глазами при входе в храм, ради Иисуса, который был так добр, что любил даже злых и грешных. И я их люблю, но не очень. Да, надо танцевать ради Иисуса, ведь он никогда меня не прогонял, танцевать долго, глядя в небеса, где живет Иисус, который никогда меня не прогонял.

XXXV

Хватит, довольно, это неправда, хватит, перестань танцевать, это опасно, особенно если широко расставить руки, когда кружишься. Кажется, я болен. Надо немедленно вернуться в кафе «Гласье», поговорить со слепым шарманщиком, взять его под руку. Давайте побеседуем, расскажите мне о своих бедах, а я вам о своих, и мы утешим друг друга, мы станем друзьями. Да, вот где

спасение. Ведь все слепые несчастны, они непременно должны любить евреев, тем более что шарманщик не может увидеть мое лицо, лицо, которое выдает меня. Друг мой, любовь моя, шептал я, торопясь к слепому, который был похож на Иисуса.

Я резко остановился, сообразив, что не застану шарманщика на прежнем месте. Он давно ушел, отправился собирать милостыню, я его потерял, утратил друга, что ж, будь мужественным, не отчаивайся. Остановившись, я теребил кудри, пытаясь сосредоточиться, скручивал, раскручивал, тянул, даже вырвал несколько волосков, пытаясь отыскать какое-то средство, какое-то лекарство. А что, если сочинить прекрасные стихи? Стихи, которыми я постараюсь объяснить, что мы совсем не изменились со времен пророков, что мы не отвратительнее чесотки, к тому же мы создали Библию и Десять заповедей, не говоря уже о том, что я искренне хотел стать другом христиан. Позвольте же мне вас любить... - так начнутся мои стихи, такие прекрасные, что все сразу пожалеют меня и полюбят.

Я прижал ладонь ко лбу, чтобы поддержать голову, которая внезапно стала тяжелой, как из свинца. Нет, я не смогу, стихи не получаются прекрасными, и меня никогда не полюбят. Что ж, тем лучше, обойдусь без них, я буду счастлив с мамой, мы будем гулять по воскресеньям, обследуем знаменитый Карниз, где устроим пикник, мы даже пойдем в театр, на воскресный утренник, а когда я вырасту, буду путешествовать вместе с мамой, мы побываем во многих странах и нам будет хорошо вдвоем. Нам никто не будет нужен. Ну, мой дорогой, пошли дальше, сказал я себе с улыбкой, и снова зашагал улыбаясь, чтобы казаться счастливым.

XXXVI

Я брел, перед глазами все плыло, я бесконечно повторял,— так просто было не подходить к торговцу, не слушать его болтовню, ведь я запросто мог пройти мимо, а не спешить навстречу несчастью. Ведь за минуту до того, как подойти к столу торговца, я мог пойти куда угодно и был бысчастлив, и сегодня вечером

радовался бы на праздничном обеде в честь моего десятилетия. О Боже, ведь Ты мог помешать мне подойти к торговцу пятновыводителем, Тебе ничего не стоило устроить так, чтобы я подвернул ногу, и, вместо того, чтобы слушать продавца, я вернулся бы домой, и сейчас был бы так счастлив, сидя за столом рядом с мамой, я бы говорил только с ней, и я бы не пошел навстречу моему несчастью.

Я брел, тараща глаза, приоткрыв рот, брел, потрясенный своим открытием, и вдруг сказал себе: нет, это все неправда, мне просто померещилось, со мной ничего не случилось, я не видел никакого торговца пятновыводителем, я сам его придумал, я стиснул кулаки, чтобы заставить себя в это поверить, но оно было сильнее—чувство, что все так и было, что несчастье настигло меня.

Я брел и молил Бога, просил Его сотворить чудо, чтобы я забыл, как слушал продавца, я просил Бога повернуть время вспять, вернуть меня туда, где я был за минуту до того, как решил подойти к столику торговца, чтобы я смог отказаться от своего намерения, и тогда сегодня вечером я, счастливый, сидел бы за праздничным столом, отмечая свой десятый день рождения.

Милый Боже, молил я Его, пытаясь выразить Ему свою любовь. И знал, что Он не снизойдет ко мне, что я для Него не такая уж важная персона, и я брел, стараясь казаться беззаботным, даже напевал, чтобы хоть чем-то заполнить пустоту в душе, – пусть, тем хуже, тем хуже, тем хуже для меня, что я пошел слушать продавца, ведь все равно я узнал бы, пусть от другого негодяя, кто я такой, узнал бы, что я проклят, что я отвратительнее чесотки, что я пиявка, присосавшаяся к человечеству.

XXXVII

Я брел, грустная пиявка на теле бренного мира, я шел, а боль в груди не утихала, я брел, влача портфель то в правой руке, то в левой, я брел, корча рожи, чтобы казаться даже отвратительнее чесотки, я брел, нарочно кривя рот, чтобы набить его золотыми

луидорами, и вдруг ясно увидел свое будущее. Дома я всегда был один, я играл один, без друзей, играл сам с собой, я всегда был полковником, замершим по стойке «смирно» перед зеркалом, мечтавшим спасти Францию. На ярмарке в Долине я тоже всегда был один, смотрел, как играют другие дети, утешаясь блюдом из капусты со сметаной или выступлением канатоходца в балагане, или одиноко любовался деревянными лошадками в манеже, выбрав самую крепкую, влезал на нее, затем слезал, проехав круг. В четверг, всегда один, я следовал за французскими генералами или полковниками, которые меня не любили и никогда любить не будут.

Да, всегда один, совсем один, но теперь я знаю, почему. Здесь не любят евреев, как сказал торговец, они грязная раса, сказал торговец, и с Вивьен теперь все кончено, кончено навсегда, ведь она христианка, она не может меня любить, она уже меня не любила, все кончено и с осликом Шарманом, потому что дядя Арман мне солгал, теперь-то я знаю, и Бог тоже врун. Он говорил, что любит нас, но это вранье. Врун, говорю я Ему, задрав голову.

XXXVIII

Да, всегда один, тот, кому неведома любовь, шепчу я без умолку, я ведь еврей, вечный еврей, еврей на всю жизнь, шептал я, кашляя, испытывая к людям одновременно ненависть и любовь, я сильно кашлял, чтобы они обратили на меня внимание и пожалели меня. Но они проходили мимо, они были очень заняты. Может, зайти в кондитерскую и съесть пару пирожных? Нет, такое счакстье скоротечно, оно кончается вместе с пирожными. Нужно уметь есть пирожные постоянно, все время, до самой смерти.

Я задрожал и остановился. О, эти двое рабочих, как уютно они устроились на крыльце дома, два каменщика отдыхали, закончив работу, они курили, дружески болтали, улыбаясь друг другу, нахваливали прекрасную погоду, и, прощаясь, сказали друг другу до свидания, до завтра, приятного аппетита— как это было замечательно; они пожали друг другу руки, не опуская глаз и улыбаясь,

они любили друг друга. Как это здорово! До завтра, Альбер, пока, шепнул я, левой рукой пожав правую, до свидания, и пошел дальше.

XXXIX

Я брел, стараясь не глазеть на стены, насвистывая какой-то перевранный мотивчик. Да, решено, мне нужны друзья, я сам их выберу, сам найду друзей, которых буду любить, и это будут не выдуманные друзья, нет, настоящие ребята, которые станут настоящими друзьями, я найду их в синагоге, мы вместе придем ко мне домой и будем играть, и я больше не буду одиноким.

Я остановился перед дверями здания с кариатидами, прикрыл глаза, чтобы лучше разглядеть то, что произойдет. Надо узнать, почему нам разрешали играть только друг с другом, только детям одной веры? Потому, что с нами никто не хотел водиться, а нам не хотелось играть друг с другом, и мы, опустив головы, размышляли, молча смотрели друг на друга, разглядывая свое несчастье, мы, еврейские дети. Что ж, тем хуже, надо жить одному, решил я, и толкнул дверь красивого дома, собираясь присесть на нижней ступеньке мраморной лестницы, чтобы обдумать свою будущую жизнь.

XL

Да, надо жить одному, решил я, сидя на ступеньке великолепной лестницы, жить одному, уметь быть счастливым одному, не нуждаться ни в ком, никогда не выходить на улицу, жить только в комнате, аккуратно ее убирать, поддерживать в ней образцовый порядок, украсить ее цветами, комната станет моей родиной, где я буду счастлив, маленькой Францией только для меня, а вокруг будет много французских книг, которые станут моими друзьями. Да, дорогой Альбер, громко сказал я, чтобы не чувствовать себя одиноким, да, ты все мудро решил, поверь мне, это сделает тебя счастливым, вот увидишь, и я снова дружески пожал леую руку правой. А что, если купить собаку? Я буду читать, а она располо-

жится рядом, не спуская с меня преданных глаз. Нет, собака не годится. Собаку надо прогуливать, а на улице полно злых людей, и там их стены.

Отлично, решил я, больше никогда не выйду на улицу, запрусь в своей комнате на ключ, и это будет счастьем, даже зашторю окна, чтобы ничего не видеть, даже днем буду освещать комнату лампой, с утра до вечера читать в этой стране для одного, под мягким светом лампы, читать всех великих французских писателей, и они будут меня любить, в своей комнате я имею на это право, в маленькой стране для меня, моей маленькой Франции, в стране с закрытыми окнами, с негаснущей лампой под желтым абажуром, в стране, где много книг, вдалеке от городских улиц, вдалеке от городских стен, в маленькой милой Франции, созданной только для меня.

Решив, как я теперь стану жить, я встал со ступеньки, и запечатлел на своей руке легкий поцелуй, возможно, он предназначался моей маленькой Франции. Так, в день своего десятилетия, я начал странствие по дороге жизни.

XLI

Во дворе Бельзанс я заметил белую надпись на стене и тотчас отвел взгляд, чтобы не знать, что там написано, но надпись неумолимо притягивала к себе, и я увидел там пожелание моей смерти, написанное, наверное, хорошим мальчиком, послушным сыном. Спина моя сгорбилась, я снова почувствовал бремя своего рождения, и побрел дальше, опустив глаза, но эти обманчивые видоискатели опасности вдруг расширились, округлились - я сделал так, чтобы поразвлечься, время от времени бросая быстрые взгляды на стены, как охотник в засаде, выслеживающий призывы к убийству, глаза постоянно их выискивали, испытывая странное наслаждение, а вот они с завистью проводили двух лейтенантов, которые весело шли по улице, совершенно уверенные в себе, в законности своего существования, они говорили громко, не боясь привлечь к себе внимание прохожих. В один прекрасный день они

станут полковниками. Я старался не смотреть в их сторону, чтобы не страдать еще больше.

XLII

Свернув за угол, я замер перед зеркальной витриной магазина и страшно испугался—на меня исподлобья косился испуганный ребенок, вызывающий отвращение своим несчастным видом, требующий жалости, я смотрел на него сбешенством и стыдом. Так это ты грязный жиденыш?—спросил я.—По роже видно, проваливай отсюда, здесь не твоя страна. Я бросился прочь, чтобы не видеть свое отражение, не видеть э ти огромные глаза с длинными изогнутыми ресницами, глаза, похожие на звездочки, мои роскошные спутники, явившиеся из глубины веков, несчастные, проклятые всеми.

«Смерть евреям», вопила стена, и я бежал от нее прочь. Я, который отвратительнее чесотки, пиявка на теле бренного мира, весь в поту, кусая губы, вдруг воздел руки к небу, требуя в этой нелепой позе, чтобы Бог велел им стать хорошими, неписать на стенах злых слов, больше не писать на стенах. Ну, пожалуйста, Господи, умолял я Его.

XLIII

А что если зайти к парикмахеру, подумал я, дойдя до конца Римской улицы. Если я заплачу ему, стану его клиентом, он заинтересуется мною, ведь он не знает, кто я такой. Нет, это невозможно, я только вчера постригся. Мама сказала: надо, чтобы ты выглядел опрятно, аккуратно причесан в свой день рождения. А,может, пойти к врачу, притвориться больным? Я заплачу за визит, и он терпеливо меня выслушает, приложит ухо к моей груди, я близко увижу его шевелюру с прямым аккуратным пробором, такую тщательно промытую, приятно пахнущую, а потом он выпишет рецепт, и мы станем почти друзьями, ведь он не знает, кто я такой. Друг мой, любовь моя, шептал я. Нет, это невозможно, у меня нет денег, чтбы заплатить за визит. Я ухмыльнулся, вдруг сразу повзрослев. Постой, постой, говорил я себе, ведь они тоже

ухом молча меня разглядывал, но я напустил на себя невинный вид, засвистел, подчеркивая свое безупречное поведение, и поспешно перешел на другую сторону улицы.

Человек разглядывает афишу. Я встал рядом, вполголоса читая афишу в надежде, что прохожий прокомментирует ее содержание, и это меня спасет. Но он молчит. Я вызываю отвращение у всех! Люди, разве вы не видите, что я не могу жить без вас, что я вас люблю, не видите, что я умираю от этого? О люди, любите меня, любите меня, ведь я вас люблю!—кричу я самому себе эти смешные слова. Проваливай, здесь не любят евреев! И я поплелся прочь вместе с древней матерью Скорбью, величественной матерью всех евреев.

XLIV

О, одиночество! О, ожидание любви! О, еврейские улыбки, несчастные, назойливые—в надежде любовью приманить любовь, о, растраченная напрасно нежность моих слишком улыбчивых, слишком всепрощающих братьев, о, хмурое недоверие христиан, о, холодный пот ужаса, о, вороватые быстрые взгляды, мгновенно брошенные из-под век, живых секундных укрытий, взгляды на стены, на их ненависть, на крики убийц, казненные взгляды. О, согбенные спины, влачащие на себе тяжкую ношу страхов, вековых гонений, перехватывающей дыхание боязни пройти темным переулком, о, спины, склонившиеся над Книгой, склонявшиеся сотни лет над нашими священным Законом, о, унижения, мучительный стыд, о, наши печальные глаза, которые все понимают, глаза, постоянно ждущие беды, глаза-ясновидцы, глаза-скептики, глаза-посвященные, глаза-циники, о, горькие надежды, о, насмешки, ирония обманутой любви. О, тайны, о, горькие надежды, о, насмешки, ирония обманутой любви. О, тайны, о, слезы, о, все наши слезы, неисчислимые слезы Израиля, эти чистейшей воды алмазы из его погнутой короны.

XLV

О, народ мой, страдающий мой народ, я твой сын, я люблю и боготворю тебя, твой сын, который не устанет славить свой народ, народ праведный, народ мужественный, народ твердый и непреклонный, который на своем святом холме упорно противостоял Риму, Риму цезарей , и семь долгих лет заставлял поеживаться от страха могущественнейшую империю мира. О, мои герои, девятьсот шестьдесят осажденных защитников крепости Массада, - они предпочли убить себя, но не покориться завоевателям, не поклоняться богам, которых они презирали.

О, мои измученные скитальцы, веками томящиеся в чужеземном изгнании, но не растворившиеся в других народах. О, мой гордый народ, одержимо стремящийся выжить, сохранить свою душу, народ, сопротивляющийся не год и не пять лет, не десять и даже не двадцать, а две тысячи лет—какой еще народ сопротивляется так упорно?! Да, двадцать веков сопротивления, и пусть другие народы намотают это себе на ус.

О, все поколения моих предков, избравшие мученичество, но не предательство, костер, но не отречение, исповедовавшие до последнего вздоха единение с Богом и величие своей веры. О, все наши, которые во времена Средневековья предпочли смерть обращению в чужую веру, замученные в Вердене-на-Гаронне, Карентане, Бри, Бургосе, Барселоне, Толедо, Тренте,Нюрнберге, Вормсе, Майнце, по всей Германии от Альп до Северного моря, все мои бесстрашные родичи - своими руками вы душили своих детей и жен, затем убивали себя, или доверяли достойнейшему из вас убить всех вас, или поджигали свои жилища и бросались в огонь, прижимая к груди младенцев, вознося хвалы Всевышнему Господу нашему.

О, мои упрямые предки, которым жизнь казалась горше смерти—жизнь, полная позора и унижений, но они упрямо и высокомерно оберегали свою веру в Бога и свои святыни, и за эту гордыню папа Иннокентий III их преследовал, повелев носить

желтый круг, запретив под страхом смерти выходить на улицу без позорного знака, нашитого на одежду, позорного знака, которым в течении шести веков по всей Европе глумились над ними, убеждали, что отмеченные позорным знаком - не такие люди, как все, их можно безнаказанно унижать, грабить, убивать. О, любовь к ближнему.

О, мои измученные, исстрадавшиеся отцы. Мало вам было их любви к ближнему, так пятьдесят лет спустя церковный собор в Вене решил, что позорного желтого лоскута недостаточно для унижения и издевательства, нужен еще шутовской островерхий колпак с рогами. Наряженные так за неистребимую веру в нашего Бога, начали мы странствия по городам и селениям, униженные в своем гордом избранничестве, скитались мы, гонимые отчаянием, страхом, насмешками, величественные даже в этих потешных островерхих колпаках с рогами, мы скитались— опозоренные, меченные, гонимые, побиваемые, и боль от страданий этих режет мне печень, жжет глаза, бьет гвоздем в сердце... мы скитались согбенные, в лохмотьях, помня и в рабстве о своем царственном происхождении, мы странствовали в веках, нищие пророки истинного Господа, хранители священного Закона, этой дивной арфы, звуки которой вели нас сквозь черный ураган кромешных столетий, и так мы брели вечность, и островерхие шапки с рогами стали для нас венцом избранничества. Осанна.

XLVI

Я медленно плыл по улицам, этим рекам-кормилицам, питающим одинких, то делая кабаллистические знаки, то шепча «Смерть евреям», пытаясь понять, что плохого я им сделал, то шептал какие-то нежности, идиотские нежности, нежности, не адресованные никому, то улыбаясь какому-то придуманному мальчику-христианину, который придет ко мне в четверг домой, и мы будем играть, то грустно напевая «грязный еврей», то ломая голову, как сделать так, чтобы ко мне и вправду относились как к венцу творения.

Измученный и малость свихнувшийся от пережитого, я брел, размахивая порт-фелем, и строил планы, которые лопались, как мыльные пузыри. А может остановить вон того человека (он кажется таким добрым) и все рассказать ему? А еще лучше священника, которому все уже известно, и он благословит меня и обнимет. А, может, сосредоточиться, чтобы привлечь внимание прохожего? Если очень пристально смотреть на него, он обязательно обернется и тогда я ему все расскажу. Еще можно встать на скамейку и декламировать стихи Виктора Гюго, посвященные Франции и павшим за нее героям,—прекрасную поэму, которая вызовет восторг у собравшихся, они будут мне аплодировать, они полюбят меня. Я забрался на скамью и слез. Нет, не так. Надо написать папе римскому. Надо рнассказать папе обо всем, он мудрый и добрый, он велит своим чадам больше никогда не мучить нас. Размышляя так, я выводил пальцем в воздухе слова, черновик послания. Затем я вообразил, что расказываю о своем несчастье полковнику, он утирает слезы и зачисляет меня в полк. Нет, лучше пусть он прикажет своему полку заплакать над моим горем, а я торжественно обойду строй и громко скомандую: «К плачу т-овсь!» Так я развлекал себя...

XLVII

Я влачился из последних сил, не в силах удержать воображение. Может, вернуться к торговцу пятновыводителем и рассказать ему о маме? Поговорить с ним по душам, и он, рыдая, станет просить у меня прощения, мы пожмем друг другу руки, и, возможно, даже обнимемся. А что, если изменить имя? Да, изменить имя. Ведь христиане добрые, только не надо им говорить, кто ты есть на самом деле. Да, превосходная идея—изменить имя. Нет, это невозможно, все равно останется мое лицо и кудрявая шевелюра. Я вдруг понял, почему на днях одна дама из Долины не позволила своему сыну играть со мной, - ей не понравилась моя голова. Меня предала моя голова, мой враг, моя доносчица. Возможно, в один прекрасный день произойдет несчастный случай, который изуродует мою голову и меня никто не узнает. И я буду счастлив. А если принять их веру, тогда они полюбят меня? Ведь если я стану

христианином, они уже не будут обращать внимание на мою голову, я ведь изменюсь, я научусь молиться по-другому. Резко толкнув дверь нарядного дома, я вошел в подъезд, и убедившись, что надежно отгорожен от прохожих, я опасливо перекрестился, чувствуя, что совершаю ужасный грех, трижды осенил себя крестным знамением, но вышел из укрытия с тем же неверием, с каким и вошел в него. А если научиться играть на скрипке и стать знаменитым скрипачом? Я так буду играть, что мной будут восхищаться, мне простят, что я еврей, меня полюбят. Нет, я никогда не научусь игре на скрипке, это слишком сложно, как можно узнать, где пальцы левой руки должны прижать струну, они ведь стремительно движутся. Нет, лучше притвориться сумасшедшим. Тогда меня оставят в покое в сумасшедшем доме. Меня будут ненавидеть не так сильно, ведь я окажусь взаперти, возможно, меня даже капельку полюбят.

XLVIII

Я снова забрел в парк Мейлан. Едва не падая от усталости, сел на скамейку и стал наблюдать за резвящейся собачкой,— столько счастья дарили ей прекрасные деревья, что она носилась по аллее, не в силах остановиться. Решив составить ей компанию, и надеясь статья таким же счастливым, я тихонько тявкнул и вдруг вспомнил то, что моей маме рассказал мальчик из кондитерской, который задушил щенка, он сказал, что ему очень хотелось щенку больно, ведь он был таким беспомощным и слабым... А теперь я вроде того щенка, и многим хочется сделать мне больно. Грязный щенок, грязный щенок, бормотал я, смерть щенку, смерть щенку, бормотал я, низко опустив голову и раскачиваясь в такт моей молитве.

Вдруг, как в прошлом году, я вообразил, что способен совершать гигантские десятиметровые прыжки,— этот дар вызовет ко мне интерес, и, главное, любовь восхищенных зевак. Я встал, стараясь как можно полнее впитать в себя это восхищение, которое сделает меня легким, словно перышко. Я встал на цыпочки, готовый взлететь, но чуда не произошло.

Вперед, сыны отчизны,—шептал я слова «Марсельезы», решив больше не дышать, чтобы своей смертью наказать их всех. Я зажал нос двумя пальцами, сжал губы и начал считать, надеясь скоро умереть. Но при счете тридцать открыл рот, жадно вдыхая, и с чувством стыда вернулся к жизни. Да, да здравствует Франция, это прекрасно, говорил я, представляя, как гоню мяч, легко обводя противников,—так я казался себе мужественным, способным смело смотреть в будущее.

XLIX

Кто знает, может теперь Бог запретит им писать на стенах, твердил я себе, выходя из церкви, где в сладко пахнущей тишине, встав на колени, умолял Господа. Теперь поглядим, но если уж и это не поможет, тогда позор Тебе, Боже! Позор Вам, скажу я, глядя на небо. Позор Вам, повторял я, пытаясь найти затерявшуюся конфету. Оказывается, у меня осталось еще несколько су. Если б я знал, опустил бы их в церковную кружку, может, это помогло бы. Но теперь поздно, мне уже ничто не поможет. А, может, надо бы спеть тихонько песенку о козленке- прекрасную песенку, которую поют на нашу Пасху, спеть ее ради Иисуса, ему было бы приятно, он бы вспомнил свое детство, как сам пел эту песню в первый день Пасхи. Да, надо было спеть, это могло бы мне помочь. Нет, теперь мне ничто н е поможет, я знал, и стены требовали моей смерти.

«Смерть евреям», «Смерть евреям», повторял я, и брел, преодолевая притяжение витрин, влача свое исстрадавшееся сердце по улицам моего изгнания, напевая о козленке, чертя в воздухе таинственные знаки, стыдливо улыбаясь, иногда что-то бормоча на венецианском диалекте, этом языке евреев острова Корфу, иногда потирая лоб, иногда нашептывая: друг мой, любовь моя, иногда напевая недавно услышанный романс о разлуке, иногда чуть слышно распевая «Марсельезу», иногда остановившись перед витриной магазина, чтобы увидеть в ней сострадание, иногда звеня монетками, я все шел, задыхаясь от одиночества.

L

Засахаренный арахис. Я купил немного, чтоб было не так тоскливо. Да, мои маленькие друзья, составившие мне компанию, сейчас вас съедят, сказал я орешкам, которые продавец-алжирец высыпал мне прямо в карман, я перемешивал их, улыбаясь своей власти над ними.Я провозглашаю себя императором арахиса. Я их властелин, но и брат их, уточняю я, назидательно подняв указательный палец,—земляные орешки мои маленькие сестрички, еврейские сестрички, и мне приятно быть вместе с ними, любить их, не чувствуя себя одиноким.

Я утешал себя, грустно грызя орешки, разглядывая себя в зеркальной витрине, себя, печально жующего, грустно пожирающего своих знакомцев, своих единственных друзей в этом мире. Я смотрел на себя, униженного столь печальным счастьем, испытываемым от вкусных орешков, превратившихся в безвкусную кашицу. Евреи любят арахис, потому что арахис любит евреев,—глупо провозглашаю я. Когда страдаешь, не до умствования.

Стараюсь пореже лезь в карман, подольше жевать орешки, подольше любить их и быть любимыми ими. Одинокие любят есть, ведь еда—это любовь, пусть низменное проявление любви, но все же заслоняющая от несчастья. Жуя, я, как помешанный, глазею на витрины, завидуя восковым манекенам Новых Галерей, которые довольны жизнью, великолепно одеты, любезны, улыбчивы, каждый их палец элегантен, они такие очаровательные, такие воспитанные, так изысканно ведут себя, так любят своих ближних, что мне вдруг становится страшно за них, страшно от их неподвижных глаз, их оскаленных клыков. Нет, шепчу я им, моя мама не такая плохая, она не отвратительнее чесотки, моя мама лучше вас всех.

LI

Стоя перед улыбающимися манекенами с безжалостными глазами, я дрожал от страха, разгадав их тайные мысли. Господи, спаси меня от врагов моих, шептал я, и бежал, весь в поту. Если

ко мне так мерзко относятся, должен ли я стать мерзавцем? Чтобы не ломать над этим голову, я достал из портфеля книжку о Нике Картере и на ходу принялся читать о подвигах Ника, Чика, Пэтси, Тен Итчи и Иды. Вот здорово, там у меня не было врагов, храбрые сыщики приняли меня в свою компанию и не гнали прочь.

Жуя на ходу орешки, я читал книжку, зажав подмышкой портфель, читал, чтобы забыть о бутылках в витрине на улице Капуцинов, бутылках с аперитивом под названием «Антиеврейский» - превосходный аперитив, изготовленный из старых вин сорта Банилс, как уверяла этикетка, я и сейчас, читая книгу, видел ее, она уверяла, что те, кто пьет «Антиеврейский», не только сохраняет отменное здоровье, но и оздоровят Францию, я стал читать книгу вслух, чтобы сыщики не оставили меня в одиночестве, все время думающем о проклятье своего рождения. Я читал без остановки, я был евреем, евреем навсегда, и люди чурались меня, но ведь это абсурд - всегда быть одиноким, быть бредущим чтецом и одиноким пожирателем засахаренного арахиса. Обо всем этом я думал в десять лет, я был слишком ранним,если вам угодно.

Закончив читать о Нике Картере, я купил газету «Радикал», стал читать программу нового французского правительства, но неожиданно выбросил газету. Черт побери, меня больше нет и их правительство меня не касается. Президент республики—шлюха, решил я, не понимая, что значит «шлюха». Вот, я уже становлюсь мерзавцем, сказал я, больно стукнув себя по лбу, чтбы наказать себя, и прося прощения у президента республики.

LII

На улице Парадиз я купил другую газету и стал ее читать, я все еще был евреем, евреем, как прежде. Боже, чем так знаменит принц Уэльский, почему его так любят , что готовы всю ночь караулить на улице, лишь бы увидеть его утром, за что его так безумно любят солдаты, которые салютуют ему, и для чего он сам приветствует их с таким напыщенным видом? Чем заслужил он такое почтение, а, главное, любовь, что свершил великого, пре-

красного? Ничего, просто родился. Принц очень хороший и очень добрый, уверяла газета. Но ведь и я родился, а меня ненавидят за это Разве трудно быть добрым , когда тебя все любят? Я разорвал глупую газету и продолжал бродить в этом враждебном мире, иногда чертя пальцем в воздухе «грязный еврей», иногда отдавая честь, чтобы разделить в с принцем Уэльским его счастье. Но рядом не было замерших в строю солдат, восторженной толпы.

Потом я пошел за бродячей кошкой. Друг мой, любовь моя, шептал я. Но даже кошка меня презирала, едва я наклонился, чтобы погладить ее, она зашипела и бросилась прочь, оставив меня в одиночестве. Я усмехнулся. Все ясно! А если я закричу? Если я заору, что меня убила ненависть? Но им наплевать. Тогда я пожелал всем злым людям превратиться в евреев, пусть сами испытают, что это такое. Потом я укусил себя за запястье, чтобы в этом мире стало одной несправедливостью больше.

LIII

Неожиданно я почувствовал уверенность: ведь меня не любят не все христиане, а те, кто похож на торговца и на тех, кто размалевывает стены, всего-то человек тридцать. Даже среди тех, кто окружал торговца, не все смеялись, некоторые молчали, возможно, они были не согласны с торговцем, но боялись его. И на улицах много добрых, милых христиан. Например, дама, объяснившая мне, как пройти к вокзалу, но я испугался и поторопился скорее уйти. Потом добрый священник, который спросил, почему я разговариваю сам с собой, и даже предложил проводить меня домой. А еще старуха, спросившая, уж не болен ли я, она тоже хотела меня проводить, даже ласково погладила меня, не надо было от нее убегать, можно было все рассказать ей и она, скорее всего, осталась бы такой же доброй. Если кто-то опять заговорит со мной, надо будет рассказать всю правду. Именно так. Только не надо говорить «еврей», лучше сказать «израильтянин», это производит более приятное впечатление. Да, лучше сказать «израильтянин», так безопаснее. Кроме того, монахини из католической школы постоянно твердили мне, шестилетнему, что я

израильтянин, а они были милыми и добрыми, они научили меня хорошим манерам, учили быть скромным, не размахивать руками на улице, да, они были весьма добры ко мне, даже сама мать настоятельница однажды меня обняла. Теперь понял, сказал я себе. Все, больше никогда не буду называть себя евреем, только израильтянином. Но я сразу понял, что и это не поможет. Да, миллионы французов—добрые, воспитанные люди, но они меня не полюбят, никогда не полюбят, и в этом нет их вины, это просто факт, что и доказывают размалеванные стены. Но в чем все-таки разгадка тайны ненависти к нам, ведь моя мама такая хорошая.

LIV

И тогда я решил стать счастливым, ходить по воскресеньям в театр с мамой—на утренние спектакли, где можно интересно провести время, можно быть счастливым, оставаясь евреем. Я улыбался, словно уже был счастлив, хотя знал, что мы с мамой не будем счастливы в театре, что в антракте мы с мамой будем одиноко прогуливаться по фойе, а зрители-христиане будут вместе, будут весело болтать, ведь они знают и любят друг друга, они будут громко обсуждать спектакль, радуясь, что они все вместе, а мы с мамой останемся вдвоем, мы по-прежнему будем грязной расой, ведь здесь не любят евреев. Грязные, презренные евреи, мы станем завидовать счастливчикам-христианам, прислушиваясь к их беседе, притворяясь, что мы ничего не знаем об их ненависти к нам, как и они, мы будем есть в буфете пирожные, будет прогуливаться, говорить, все время говорить, чтобы о нас не подумали, будто мы злобные молчуны, и мы без конца будем говорить, мама и я, чтобы оставаться друзьями, чтобы уверить себя, как мы счастливы, как мы поглощены беседой, и нам никто не нужен, но это будет неправда, мне жаль одинокую пару в фойе—маму и меня, улыбающихся, притворяющихся, что они счастливы, скрывающих за громкими словами стыд отверженности и одиночества, с достоинством идущих по катакомбам изгнания... несчастные, улыбающиеся изгои, гордые зрители, фланирующие по фойе в одиночестве, искупая грех своего рождения и чужеземности. О, злой Бог, шепчу я. А, может, зайти в кондитерскую, она еще

открыта... Зачем? Пирожные не помогут, даже с шоколадной начинкой...

LV

Да, мое сокровище, шепчу я крысе, осторожно крадущейся вдоль водосточного желоба, несчастная одинокая крыса ползла в темноте, бедная, всем ненавистная, Да, ангел мой, да, мой Альбер, мы еще будем счастливы, вот увидишь, уверяю тебя, еще не все потеряно. Так, болезненно улыбаясь, сами с собой беседуют самые несчастливые люди, те, на кого обрушилась беда. Я остановился. На стене длинная фраза, написанная мелом, и сразу обожгло лицо, оборвало дыханье, как ударом под дых, я задыхался, словно горлом хлынула кровь... я понял, что больше не смогу жить.

LVI

«Смерть евреям», «Смерть евреям», «Грязные евреи», «Грязные евреи»—сообщала добрая длинная надпись, стоя перед которой, я понял, что больше не смогу жить. Узнать это в десять лет—слишком рано. Я разглядывал надпись, открыв рот, сгорбившись. «Смерть евреям», «Смерть евреям», «Грязные евреи», «Грязные евреи». Я отчетливо увидел два видения, от которых покрылся испариной. Первое—я взрослый, путешествую на пароходе, и все любезны со мной, все мне улыбаются. Второе—на следующее утро все пассажиры меня избегают, зловеще молчат, они уже знают, кто я такой. Всю мою жизнь, всю мою будущую жизнь, знаю я теперь, меня никто не полюбит, и я никого не полюблю, я, который так любил и так хотел любви. Кружится голова, кровь толчками бьет в горло, я сдерживаю рыдания, кусаю губы и перечитываю ужасный приговор, начертанный мне мелом на стене. Я был евреем, я всегда буду евреем, которого никогда не полюбят.

LVII

«Смерть евреям», «Смерть евреям», «Грязные евреи», «Грязные евреи». Грязный еврей читает свой приговор, грязный деся-

тилетний еврей познавал вечную неприкаянность. «Смерть евреям», «Смерть евреям», «Грязные евреи», «Грязные евреи». Грязному еврею было тошно, от горя у грязного еврея подгибались ноги, грязный еврей разинул рот, грязный еврей обливался потом, грязный еврей задыхался от несчастья, грязный еврей не мог плакать, его душили спазмы, мешавшие грязному еврею разрыдаться, он остолбенел, слезы в горле грязного еврея превратились в камни, они душили и причиняли невыносимую боль. Это была боль грязного еврея, жида, жиденыша, боль, не обезболиваемая плачем, боль стыда, боль грязного еврея, которому желают сдохнуть, боль горбящейся и костенеющей спины, боль душащая, сухая, неотпускающая, безнадежная. Да , и грязные евреи страдают, как все люди. Антисемиты, нежные души, я жажду любви к ближнему, скажите же, известно ли вам, где она, эта любовь?

LVIII

И вновь я вижу беспомощный жест ребенка, стоящего перед стеной с начертанным ему смертным приговором. Он поднял руку, нацелив указующий перст в злобные слова. Это жест слабого, шута, пророка. Он стоит так долго, указывая пальцем на стену, осуждая призыв к убийству. Фарс самого дурного вкуса. Но что делать, таково несчастье.

Я адресую этот несчастный, бессильный жест ребенка, приговоренного к ненависти, вам, поколения христиан, вам я завещаю его. Это мой подарок. Можете делать с ним, что хотите. Это меня не касается, решайте сами. Если хотите, можете его выбросить на помойку, этот трогательный жест ребенка.

LIX

Ребенок возобновил свое вечное странствие. Красивое лицо грязного еврея очень серьезно, на нем отражается слабость и боль, - несчастье, с которым он хочет покончить, несчастье грязного еврея, десятилетнего ребенка, с трудом передвигающего ноги, бредущего без веры, без чувства собственной необходимо-

сти, которое направляет наши действия и даже делает нас счастливыми. «Смерть евреям», как заведенный, повторяет десятилетний ребенок, дрожа всем телом. Да, пойти домой и умереть, если с ним так обращаются. Грязный еврей знал, что он не сможет стать самоубийцей, что он не осмелится так поступить, что он еще слишком мал для этого, грчзный еврей мысленно умолял отца, чтобы тот убил его.

Да, пойти домой и умереть. Папа был великим человеком, он это знал. У него есть бритва, которую мама всегда запирала в шкаф. Папа приставит ее к моему горлу, я дернусь вперед—и все, конец, нет больше грязного еврея. Боже, зачем же я хожу, если решил умереть? Для того, чтобы умереть, надо ходить, двигаться, как в жизни! Но почему нельзя умереть от одной мысли о смерти, произнеся тайное, всемогущее слово? Закрываешь глаза и быстро произносишь слово, и горлу не больно, все кончено, больше никогда не увидишь гнусных стен. «Смерть евреям». Да, папа всегда был добр ко мне, он обязательно меня убьет.

Я тащился по ночной улице. Большие белые буквы на двери магазина требовали моей смерти. Уже скоро, совсем скоро, пообещал я этим двум словам любви, их любви. За стенами домов, мимо которых я брел, спали счастливцы, они покойно спали, дети христиан, у них и в мыслях не было просить своего отца убить их. Конечно, папа меня поймет, он меня пожалеет. Я стану умолять его, скажу, что я всегда был послушным ребенком, я ему напомню, как мы играли с ним в парикмахера и клиента, напомню, как патриарх Авраам согласился зарезать своего сына Исаака. Нет, лучше маленькая железная печурка, которую топят углем жители Корфу. Да, печка, потрескивающая посреди комнаты, и мы втроем протягиваем к друг другу руки, и вместе перносимся в страну, где нет злых людей.

LX

Неожиданно я узнал себя в освещенном зеркале ювелирного магазина и остановился, я глядел на себя и дрожал, я салютовал сам себе, подносил руку к губам, которые кривила странная злая улыбка. Я заплакал, я царственно вышагивал, преисполненный гордости за мой народ, за несчастье посвященных, я шел, подгоняемый пустынным ветром, чувствуя прикосновение Вечности, я шел, коронованный их ненавистью, отныне и во веки веков еврей —как и патриархи, еврей—как и пророки, еврей—как сам Господь. Аллилуйя.

LXI

Заметив возле фонарного столба фиакр, отбрасывающий длинную тень, угловатый блестящий фиакр, старенький фиакр без кучера, я подошел к старой смирной лошади, смиренной рабыне, с целомудренно поникшей мордой, я хотел, чтобы она услышала, как я, волнуясь, громко, во весь голос закричу, что я король, король евреев, принц в изгнании, оскорбленный сеньор, который потом, позже освободит все человечество от злобы. От захлестнувшей меня радости я защелкал пальцами и каблуками, пританцовывая на месте, в тени, отбрасываемой подневольной лошадью, безумный танец, и был по-королевски счастлив. Так я безумствовал, так ребенок пытается обмануть несчастье.

И мудрая лошадь ударила копытом, задрожала, то ли от холода, то ли сердито, ударила еще, ударила по мокрым желтым отражениям, высекая искры, затем сипло, по-человечески закашлялась, важно покачала мордой с бородкой, своей древней головой, ободряя меня, затем печально посмотрела на меня огромными атласными глазами, своими мечтательными добрыми глазами, потом вновь отвесила мне низкий, почтительный поклон, приветствуя меня и благословляя.

Я бежал, задрав голову к ясному небу, усыпанному бриллиантами ночному небу, где властвовало величие, Бог Авраама, Исаака,

Иакова. Услышав за спиной кашель лошади, я оглянулся, увидел, что и она, тоже оглянувшись, смотрит на меня, приветствует учтивым придворным поклоном своего короля, который удаляется от нее с легкой, славной, чуть суровой улыбкой на дрожащих губах, уходит от нее, и в ночи хрипло прозвучало ее последнее благословение.

LXII

Пристроившись сбоку от прохожего добродушного вида, с бородкой, в пенсне, с брюшком, я зашагал в ногу с ним, что-то бормоча, делая вид, что читаю стихи, я шептал, что я—избранник, который спасет его. Я спасу его от беды, прошептал я несколько раз эту фразу. Коварный и расчетливый, как безумец, я скромно провозгласил себя избавителем прохожего, я притворялся, надеясь, что прохожий не остановит меня, ведь он подумает, что я нормальный мальчик, который повторяет урок, но одновременно он узнает ужасную, только мне открытую истину. Я чувствовал, что господин вот-вот заговорит со мной, сделает замечание, почему я так поздно гуляю, и я бросился бежать. Добежав до угла, перешел на шаг, принял величественный вид и направился к голубому храму, где пела живая вода.

LXIII

И вот, малость спятив, низвергнутый в бездну несчастья, этот ошеломленный, растревоженный малыш, брел, как слепой, по ночным улицам, брел, обезумев на десятом году жизни. Словно прокаженный, я брел, пытаясь отыскать высший смысл своего несчастья, и это было смешно, ноги скользили по мокрому ночному тротуару, я брел царственной поступью, походкой слабых гонимых, неприкасаемых,

свидетельствуя жестами о грандиозных планах и благосклонном понимании, брел торжественно-слабый, опозоренный мальчик, брел, исступленно убеждая себя, громко шепча, что я ведь король, король евреев. Каждый утешает себя, как может. Если несчастен, довольствуйся королевской властью.

LXIV

Окончательно спятив, я шел и шел, а ветер раздувал мою мантию, невидимое одеяние, напоминавшее два крыла за спиной, я шел, усыпанный гиацинтами и золотом, и за мной ступал благородный белый конь. Безумный ребенок, которому отомстили, гордо шел, добрый и презираемый, непонятный, осужденный на поражение, несмотря на его царственный вид. Как это ни жестоко по отношению к маленькому горемыке, бредущему в ночи, надо честно сказать, что этот король с четырьмя су в кармане иногда бросал быстрый взгляд на витрины ювелирных магазинов улицы Сен-Ферреоль, чтобы увидеть, какое впечатление производит отражающийся в зеркальных стеклах страдающий монарх. Гораздо больше он достоин жалости, а не насмешки, ведь эти взгляды украдкой—единственное утешение одинокого ребенка, отверженного парии.

Пария, дарующий благословение... Каждый раз, встречая злого человека, я незаметным жестом благословлял его. Отверженный, я благословлял всех злых людей, особенно белокурых, я благословлял их, я их любил во имя Израиля, сотворившего меня Израиля, я благословлял их, шепча загадочные еврейские слова из единственной известной мне молитвы, и еврейские слова, которые я сам придумал, они звучали очень торжественно, они волновали меня. Я благословлял злых и предрекал им именем Израиля, спасителя и изгнанника, именем Израиля, которым был я сам, я предрекал им, что настанет день, когда они меня полюбят, и этот день станет днем, когда миллионы обнимутся, став, благодаря мне, воистину гуманными людьми. Каков наглец, черт возьми!

Я шел, спотыкаясь и скользя, и благословлял толпы людей, я улыбался им, даря знаки королевской милости, небрежно отдавая честь, едва обозначая, придворно-изящно, легко; шел и улыбался, обещая дары своим врагам и будущим собратьям, красоту—уродливым, шел, иногда воздев над головой свой портфель, который стал для меня Скрижалями Закона, я шел, избранный носитель Закона, святой хранитель Вечности, соль земли, я шел, прислушиваясь к поскрипыванию кедров, самозванный король Израиля и

истинный потомок Аарона, великого первосвященника, брата Моисея. Я шел.

Но королю вдруг стало страшно, он вспомнил, что он никому не нужен, этот несчастный будущий полковник французской армии, этот бессмертный французский полковник, что он, решившийся купить универсальный пятновыводитель, никому не нужен, он, который хотел быть вместе с другими, он, у которого такое любящее, до идиотизма любящее сердце.

LXV

Под блуждающими звездами, звездами, осыпавшими мой венец, я шел, безумец-король, мои ноги царственно скользили по тротуарам страны моего изгнания, я шествовал с изяществом спятившего гермофродита. «Смерть евреям». Я пытался изгнать бесов из стены, хмуря брови и властным жестом поднимая длань. «Жизнь христианам», отвечал я на ужасную угрозу и устремлял взор в небо, где мерцали глаза моих умерших предков, они понимали меня. Да, христиане были моими детьми, моими теплыми воробушками, которых я прижимал к груди, серьезный, будто отец, и обещал им, что они станут милыми и добрыми, уж я за этим присмотрю. «Смерть евреям». Я улыбался стене, смиряя ее злобу, я успокаивал ее, призывал быть терпимее. «Грязный еврей», вопили толпы, но я их благословлял—воздев руки, как два солнечных луча, я благословлял возлюбленных моих врагов, и на моем лице, искаженном болью, страданиями и улыбкой, я чувствовал отвратительную жижу ненависти, ненависти чад моих, людей.

LXVI

Левая щека горела, я вынужден был признать, что мое величество получило пощечину, я впервые признаюсь в этом, об этом не знал никто из моих близких. Да, в тот день, когда мнеисполнилось десять лет, мне влепил пощечину продавец пятновыводителя, когда, сраженный его повелением немедленно убираться, я еще медлил, продолжая смотреть на обидчика, открыв рот, словно

протестуя, и в глазах у меня отражалось горячее нежелание признать себя виновным, этот животный страх, страх, который я всегда видел в глазах моей матери.

Я шел по пустынной улице, шел, прижав руку к оскорбленной щеке, шел, сын пророков, ставший жиденышем, шел, Иисус с кругами под глазами, ведь и он приложил руку к левой щеке, мертвенно-бледной, мы стояли рядом—Иисус, рожденный, как и я, евреем, он все время повторял мне это, Иисус, которого вместе со мной изгнал торговец, Иисус, сын Марии, которая тоже была еврейкой, Иисус—наивный, улыбающийся, мудрый мечтатель, Иисус рядом со мной, и толпа швыряла в нас камни, вопя, что мы грязные евреи и требовала нашей смерти, а Иисус мне

улыбался, печальный мой соучастник, и шептал мне: «Пусть живут евреи», любящий Иисус одесную меня, этот Другой, великий сын моей расы, он жил до нас, проповедуя Десять Заповедей, высоко вознесенные в громовом Синае или под тусклыми фонарями, над головами мерзких, откуда-то возникших проституток, сюсюкающих вымогательныц, разносчиц болезней, одна из них сказала мне, что уже за полночь и мне пора спать. И король повиновался проститутке.

LXVII

По дороге домой, под дождем, который стучал по асфальту, надувая маленькие, лопающиеся пузыри, ребенок, все еще держась за щеку, оскорбленный, встретил маму и папу—растрепанные, сходя с ума от страха, они возвращались после пятого или шестого визита в полицейский участок, после долгих часов курсирования между домом и полицейским комиссариатом, где они смиренно осведомлялись, нет ли новостей об их пропавшем сыне, рыдая при описании его внешности—такой красивый маленький мальчик, господин комиссар полиции, с красивыми кудрями.

Когда все трое вошли в квартиру, обитель доброты, о сладостное гетто моего умершего детства, о тепло и желтый круг от горящей керосиновой лампы, о моя покойная мать, которую я

никогда уже не увижу, никогда не пойду встречать ее на вокзал, они прошли комнату, где напрасно ждала весь вечер вкусная праздничная еда, радостно приготовленная в день моего рождения, и громадный одинокий торт с десятью погасшими розовыми свечами, скончавшимися, едва начав жить.

Трое не сели сразу за праздничный стол, а прошли в комнату родителей, там, пытаясь унять голокружение, преследовавшее его с тех пор всю жизнь, ребенок поведал матери и отцу, что с ним случилось. Но он рассказал не все, он только сказал, что над ним смеялись, его прогнали прочь, потому что у него еврейское лицо. Тогда отец и мать виновато оглядели свое дитя и опустили глаза. Я вновь и вновь вижу их... отец сидел на своей кровати, мать на своей, ее маленькая рука, затянутая в тонкую перчатку, напоминала печеное яблоко. И мы плакали. Есть чем потешиться антисемиту.

LXVIII

Разумеется, антисемиты, нежные вы души, рассказанная мной история—это не история о концлагере, физически я не пострадал в день, когда мне исполнилось десять лет. Разумеется, с тех пор многое изменилось к лучшему. Разумеется, торговец пятновыводителем всего лишь преподал малышу урок позора, он вразумил его, как постыдно и непростительно родиться евреем. Не дурно, а? Сказать малышу, что он проклят и навсегда ранить его душу.Разумеется, многое с тех пор изменилось к лучшему. Но то, что случилось со мной в день моего десятилетия, моего явления на землю, та ненависть, с которой я впервые столкнулся тогда, та тупая ненависть уже предвещала газовые камеры, длинные камеры с цементным полом, где были замучены мои родственники, дядя и его сын, они задохнулись, держа друг друга за руки, и нагота сына накрыла наготу отца, который его так любил.

LXIX

Без того порговца и его собратьев по злобе в Германии и других странах, не было бы газовых камер, немецких камер смерти, душевых кабин, этих немецких камер, откуда мертвых и еще живых волокли к печам сами же узники, которых в свой черед отправляли в газовую камеру, а иногда, шутки ради, бросали прямо в полыхающую печь веселые белокурые атлеты в блестящих черных сапогах, столь дорогих всем антисемитам.

Без того торговца и его собратьев по злобе, этих его сородичей в Германии и других странах, не было бы адовых путей, высоченных труб крематориев, высоченных труб, откуда вырывались красно-желтые языки зажженного немцами пламени, дым от принесенного в жертву моего народа, черные султаны, поднимавшиеся в небо, зловоние и смрад которых не достигли Бога, Он не чувствовал его, этот жертвенный фимиам великого народа, самого преданного Ему, самого многострадального, самого истребляемого, самого ненавистного, но это слава, это избранничество— быть так гонимым негодяями.

Без того продавца и его собратьев по злобе, этих его сородичей в Германии и других странах, перед немецкими печами в год благодати 1943-й не было бы нагромождений скелетов с иссохшими руками и ногами, не былобы гор мертвецов, ждущих, когда их пожрет немецкое пламя, не было бы желтоватых трупов, перемешанных в ужасном беспорядке в этих грудах, окостеневших, одеревеневших, не было бы этой чудовищной немецкой игры в людей, не было бы этих островков из некогда живых людей, окоченевших, умолкших навеки, но ведь и они когда-то любили, улыбались, эти умолкшие нечастные, с открытыми ртами, кричащими последнюю мольбу, с остекляневшими мертвыми глазами, которые глядят на вас, ненавидящие евреев.

Без того торговца и его собратьев по злобе, этих его сородичей в Германии и других странах, не было бы немецких лагерей, не было бы моих братьев, в которых еще мерцала жизнь, а они

лежали на деревянных нарах, как в летаргическом сне, едва шевелясь, в рубище или уже нагие, с выпирающими сквозь кожу огромными костями, ожидали своей участи, равнодушно ждали смерти, отрешенные, сирые Бога, позабытые всеми, иссохшие, ждали, скорчившись на жестких нарах, не в силах стряхнуть паразитов, с еще живыми глазами в громадных страшных орбитах, глазами ночной птицы, ждали с каким-то болезненным взглядом самоубийц, вспоминая о счастливых днях, ждали свою смерть и знали, что она рядом, ждали, еще дыша, вдыхая ужасный смрад из немецких труб, высоких труб крематориев, ждали, когда им предстоит упасть друг на друга в шипящих газом циклон камерах, в немецких камерах, наполнявшихся немецким газом. Ради чего они должны были упасть, эти изможденные, нагие люди,упасть с открытыми глазами друг на друга? Ради белокурого торговца и его собратьев по злобе, этих его сородичей в Германии и других странах, ради всех ненавидящих евреев.

Да, эти мертвые разверстые глаза глядят на вас, ненавидящие евреев, глядят в этот миг, когда вы нежно целуете руку жены или лобик ребенка, они глядят на вас, когда вы смеетесь, когда вы молитесь, когда вы издыхаете в предсмертной агонии, стискивая простыню.

Скажите же, антисемиты, которых я осмеливаюсь назвать братьями, сыновья добрых матерей и братья наших матерей, братья по смерти, общей для всех, братья, которым вéдом ужас предсмертных мук, бедные братья по смерти, братья мои по жалости и нежности, скажите же, братья мои антисемиты, вы на самом деле счастливы своей ненавистью и горды своей злобой? Неужели такая цель ведет вас в этой горестной, быстротечной жизни?

LXX

О, люди-братья, будущие мертвецы, пожалейте друг друга, пожалейте своих собратьев по смерти, пожалейте злых людей, заставивших вас страдать, и простите их, ибо они изведают ужасы долины смерти, пройдут через ее мрак, и у них есть на вас права,

августейшие права будущих жертв, бьющихся в агонии, так пожалейте их, пожалейте своих братьев по смерти, пожалейте их неминуемую агонию, эту вестницу смерти, которая не минует и вас, и ваши руки, как их, будут цепляться за простыни, будут царапать грудь, силясь вздохнуть, хотя бы один-единственный раз вздохнуть. Так пожалейте друг друга, пожалейте своих общих мертвых и пусть из этой жалости к ближнему и его неизбежной смерти, из этой жалости к общей трагедии и общей судьбе, пусть из этой жалости родится, наконец, смиренная доброта, более искренняя и серьезная, чем высокомерная любовь к ближнему, доброта, утвердившаяся на справедливости, ибо что может быть справедливее жалости к будущему мученику, страдающему в агонии.

О братья, не надо прощать ненавистников ваших, не надо смиренной слезливой доброты, ведь отказ от ненависти значит куда больше, чем любовь к ближнему, любовь, в которую я когда-то верил, по которой и теперь тоскую, я знал ее очарование, и меня иногда соблазняет эта любовь, волнующая своей красотой, но как воспринять ее всерьез, как в нее поверить? Что есть истинная любовь, готовая к самоотречению и лишениям, любовь, более сильная даже, чем привязанность к самому себе, если я без конца думаю о том, что станет с моей возлюбленной после моей смерти, сможет ли она защитить себя, когда меня не будет рядом, что есть любовь, которую испытываешь к тем, кого искренне любишь, твоя душа прилепилась к ним, они твои близкие, ты их действительно жалеешь, что есть возвышенное предпочтение других себе, эта любовь, когда трепещешь, страшась потерять любимое создание, боясь, что вас разлучит либо его смерть, либо твоя, что есть эта любовь, единственная достойная так называться, что есть эта святая любовь, способная возлюбить тысячи, миллионы незнакомых тебе людей? Собственно говоря, есть две любви: истинная, для влюбленных, и ложная—для всех остальных, так называемая любовь к ближнему. Ах, как мало они любят и какой малостью довольствуются сами, эти возлюбившие ближнего.

Я убежден, что отказ от ненависти важнее любви к ближнему, этого самообмана, придуманной любви, разбавленной пробироч-

ной любви, легкой и доступной всем, любви безразличной, ангельской песне, актерской декламации, любви к самому себе, напыщенной святости, тщеславию, погоне за ветром, опасной любви, питающей несправедливость, проповедуемой лицемерами. О, чудовищное сосуществование любви к ближнему и ненависти, стерильной любви, которая на протяжении двух тысячелетий не смогла предотвратить войны, костры инквизиции, погромы, немецкие газовые камеры, о, чудовищное сосуществование любви к ближнему и ненависти.

О люди, братья мои, живущие так недолго, которые скоро умрут, застынут чопорно и немо в своей отвратительной кончине, пожалейте своих братьев по смерти, не притворяйтесь, что вы любите их смехотворной любовью к ближнему, этой шутовской любовью, которой мы сыты по горло, цену которой мы все хорошо знаем, да повзрослейте же наконец, оставьте ненависть к вашим братьям по смерти. Так сказал один человек с высоты своей грядущей смерти.

Пер. с французского Льва КАНЕВСКОГО

Выдающийся французский писатель Альбер КОЭН
родился в 1895 г. на о.Корфу (Греция),
окончил школу в Марселе и Женевский университет.
Был сотрудником дипломатического отдела
в Международном бюро труда (Женева).
В годы войны находился в Лондоне, являлся юридическим советником межправительственной комиссии, включавшей представителей Франции, Великобритании и США.
После окончания войны занимал посты в ООН.

В 1930 г. Альбер КОЭН опубликовал свой первый роман «Солель».
В 1968 был удостоен Большой премии Французской академии за роман «Право первой ночи».
Публикует роман «Храбрецы» (1969), «О люди, братья мои!»(1972), «Записные книжки 1978 года» (1979).
Умер в Женеве 17 октября 1981 г

«О люди, братья мои!»—первая публикация Альбера Коэна в России.

Андрей БАТАШЁВ (Москва)

ВОЗВРАЩЕНИЯ В ГОРИС

Свое первое предприятие—кооператив «Прогресс»—московский предприниматель Гамлет Мирзоян организовал в 1988 году. А уже через полгода стал выплачивать пособия «воинам-интернационалистам»—инвалидам.

Однажды, возвращаясь поздно вечером домой, он увидел в подъезде четырех здоровяков. Они объяснили Мирзояну, что он должен взять их ксебе «телохранителями», платить хорошие деньги и не суетиться: они, мол, прошли Афган.

—Ребята, вы опоздали ровно на три дня. Я уже плачу афганцам, и не четырем, а ста, только изувеченным и раненым...

После этих слов «деловая часть» закончилась.

—Ладно, иди принеси бутылку.

—Я принес из дома водки. Они выпили. Самый старший из них дал мне на прощанье бумажку с телефоном: «Если к тебе когда-нибудь придут, позвони». Но ко мне больше никто не приходил.

...Когда в госпиталях появились раненые из Афганистана, отец Гамлета (он воевал в Великую Отечественную, был ранен и демобилизован в 1943 году) сказал сыну:

—Нам никто не помогал. А этим ребятам обязательно надо помочь. Если сможешь, дай каждому из них, кого ты встретишь, хотя бы по рублю.

—Помогая «афганцам», я еще исполняю волю отца,—поясняет мне Мирзоян.

Я слушаю его и думаю, что в тот раз, когда его встретили в подъезде те четверо, отец, возможно, спас ему жизнь.

Причины и следствия. Бесконечная цепочка, уходящая в прошлое, таинственная связь случайного и закономерного. Эту связь невозможно досконально проанализировать. Ее можно только прочувствовать. Но для этого надо обладать тем внутренним чувством, которым природа наделила Мирзояна..

Однажды, беседуя с западным журналистом, Гамлет рассказал ему, что на его заводе принято отмечать дни рождения работников. А поскольку на предприятии трудится свыше тясычи человек, то на день в среднем приходится три-четыре таких праздника.

—У нас есть специальная служба «Забота»,—продолжил Мирзоян,—ее сотрудники покупают цветы, а я приглашаю именинников к себе в кабинет и вручаю им букеты и подарки. И пока я жив, эта традиция будет продолжаться...

Выслушав Гамлета, журналист заметил, что настоящий бизнесен не станет тратить свое время на такую ерунду как цветы...

—Я не стал ему возражать,—говорит Мирзоян.—Он все равно не мог бы понять меня,—слишком уж большая разница между тем, как живут на Западе и как живем мы. Но я-то знаю, что для наших рабочих цветы, которые подарил им руководитель предприятия, вовсе не ерунда...

—А какие цветы вы дарите?

—Розы и гладиулусы. Именно такие цветы росли вокруг нашего дома в маленьком армянском городке Горис...

Прошлое. Оно очень многое определяет в сегодняшней жизни Гамлета Мирзояна. Потому-то мне и предсталяется необходимым рассказать о тех годах его жизни, которые, не исчезая, очень часто обнаруживают себя в настоящем.

Отвечая на мои вопросы, Гамлет рассказывал, что произошло в его жизни в таком-то году, а что в таком-то, какие проблемы он решил и каких успехов добился тогда-то и тогда-то. И время в его рассказе текло с обычной, изначально заданной скоростью.

Но параллельно с этим Гамлет постоянно возвращался к тем годам, когда он жил в Горисе, и в тех воспоминаниях время было совсем другим. И людям и событиям оно сообщало ту неизменность, которая позволяет нам в любой момент вернуть прошлое, вглядеться в лица близких, услышать их голоса...

В этом неизменном мире никто не объяснял Гамлету, что такое доброта, честность и совесть; в этом не было необходимости—жизнь его близких была реальным воплощением тех первичных понятий, для которых, как мы сегодня вдруг поняли,

очень трудно, а, может быть, и невозможно найти исчерпывающие определения...

Из всего, что мне рассказывал Мирзоян, я выбрал то, что относится к тому, другому времен. И этот смонтированный мною его рассказ я предлагаю вниманию читателей.

Горис—это маленький городок (в нем живет всего около 35 тысяч человек), построенный в середине 19 века по французскому проекту. Дома—в основном это двухэтажные коттеджи—стоят в шахматном порядке, и у каждого—свой участок земли...

В детстве я никогда не видел, чтобы у нас в городе кто-то с кем-то подрался или поругался. В суде почти всегда стояла тишина, а тюрьма, построенная чуть ли не сто лет назад, чаще всего пустовала...

Если в городе кто-то умирал, в дом умершего приходили все его родственники и друзья. И каждый обязательно что-нибудь приносил: килограмм масла, бутылку водки, сахар и т.д. И те, кто получали эти скорбные дары, записывали, кто что принес. Этот долг будет возвращен (списки передаются от поколения к поколению)—когда в чьей-то другой семье произойдет трагическое событие...

Очень хорошо помню дедушку и бабушку. Дедушку я звал папой, а бабушку—мамой, а настоящих отца и мать—по имени, наверное потому, что отец и мать целый день были на работе.

Я долго не знал, как зовут мою бабушку. И очень пожалел об этом, когда она однажды обратилась ко мне:«Гамлет, помоги мне. Я забыла, как меня зовут...»

Что было делать? Бабушка попросила меня незаметно выведать это у ее сестры: сама она очень стеснялась, что ее так подвела память.

С большим трудом мне удалось это сделать и я узнал, что мою бабушку зовут Варсеник.

...Когда мы начали строить дом, к нам сразу же пришли на помощь соседи. Если бы мы делали фундамент одни, у нас ушло бы на это не меньше месяца, а так все было закончено за три дня.

Все работали бесплатно. Единственным вознаграждением был ужин, который на всех готовила бабушка Варсеник...

В нашем доме было четыре комнаты, а жили в нем, наверное, человек тридцать—бабушкины дети со своими семьями. А главной стряпухой была бабушка Варсеник.

В окрестностях Гориса на склонах гор много лесов, там растут дикие яблони и груши, ягоды и грибы и какие-то ароматные и целебные травы, которые были известны только моей бабушке. И она все это собирала, солила, сушила, мариновала...

В пятидесятые годы, когда было очень плохо с продуктами, бабушка Варсеник придумала замечательное блюдо: она брала черный хлеб, добавляла сметану , какие-то травы и жарила все это на сковородке. Получалось кушание, напоминавшее дорогую рыбу. И всем было что поесть...

Чем меньше было на столе еды, тем внимательнее каждый из нас следил за собой, чтобы взять свой кусок последним. И потому после любого застолья всегда что-нибудь оставалось...

Если не было кофе, бабушка Варсеник собирала жолуди, жарила и молола их, затем смешивала с остатками настоящего кофе в пропорции 99:1 и добавляла какие-то травяные соки... Когда бабушка готовила свой кофе, об этом знала вся улица—такой у него был аромат. И соседи всегда с удовольствием заходили к нам, чтобы выпить чашечку ее фирменного напитка... К сожалению, сейчас его уже не приготовить: секрет бабушкиного напитка утерян...

В нашей семье никогда не говорили плохо ни о родных, ни о знакомых. А вот рассказы о необыкновенных, добрых и героических поступках хороших людей я слышал очень часто. И с детства знал, что вот этот наш родственник—великолепный врач, а тот—прекрасный учитель армянского языка. И когда они приходили к нам в гости, мы встречали их, словно легендарных героев.

Бабушка же, рассказывая сказки,—а она знала множество армянских, русских, грузинских и уж не знаю каких еще сказок—всегда включала в число главных персонажей наших родственников, которые никогда и ни перед чем не отступали.

Бывало, что бабушка и дедушка специально наряжались и разыгрывали для нас и соседских детей какой-нибудь сказочный

сюжет. Мы, конечно, тоже с наслаждением участвовали в представлении. И всегда это была сплошная импровизация, без всякой предварительной подготовки и заранее написанных сценариев.

...У нас был прекрасный сад, особенно много было яблонь. Мы различали их не по сортам, а по тому, чьи они: у каждого из нас было свое дерево. И когда вечером мы собирались все вместе, дедушка мог сказать: «Гамлет, принеси-ка бабушкины яблоки», и я знал, с какого дерева их надо сорвать...

Мой дедушка был замечательным столяром. Я всегда смотрел, как он работал, и запоминал все до мельчайших подробностей. Мне кажется, что я мог бы сегодня сделать, например, книжный шкаф, который никто бы не отличил от дедушкиного...

Дедушка рано умер—ему было всего 64 года. Произошло это так. У него была корова, которая паслась в горах. И вот однажды погода вдруг испортилась, хлынул страшный ливень. Дедушка испугался, что корова погибнет, и бросился в горы, чтобы ее спасти. Корову он спас, но сам простудился и через два дня умер—от обыкновенной простуды...

Многолюдную траурную процессию на кладбище сопровождали кошка и собака, за которыми он ухаживал. Потом вместе с людьми они вернулись домой. Наутро кошку нашли мертвой около забора, а собака исчезла. Через несколько дней ее обнаружили на кладбище: бездыханная, она лежала у могилы дедушки.

Мой отец переживал их смерть как трагедию. И похоронил кошку и собаку так, как хоронят людей...

Отец был очень мягким, очень чувствительным человеком.

Работал он кочегаром, столяром, а в последние годы, перед тем, как выйти на пенсию, учителем труда в школе.

По пятницам к нам домой приходили его товарищи-учителя и играли в лото. Часа через два набиралось рублей пятьдесят. На эти деньги они устраивали праздник. А мы, дети, ждали, когда взрослые накроют на стол и пригласят нас...

Если игроки входили в азарт, сумма выигрыша возрастала.. Тогда на эти деньги покупали барана и нам доставалось по шашлыку...

Помню, у нас дома вдруг раздался стук в окно. Я посмотрел на отца—он сразу стал бледный, как полотно... Мы подошли по-

ближе и увидели... воробья, который влеел в форточку, попал между рамами и стал биться о стекло...

Тем не менее, мой отец, который, вроде бы, не отличался храбростью, никогда не боялся говорить то, что думал. При Хрущеве его за это исключили из партии. В те времена, когда по воле генсека везде стали создавать промышленные и сельскохозяйственный райкомы партии, отец однажды сказал на собрании:

—Зачем это делать у нас, в Горисе, где всего-то полтора колхоза и полтора завода? У нас уже и так в райкоме пятьдесят бездельников, а теперь—в другом райкоме—к ним добавятся еще пятьдесят. Кто же работать-то будет?

Потом отца восстановили в партии, но здесь началась афганская война. И отец опять выступил на собрании:

—Зачем нам все это? Зачем нам Афганистан?

И получил партийный выговор.

...Вечером, перед тем, как выйти пройтись на улицу, отец надевал пиджак с большими карманами, а бабушка тем временем приносила из подвала яблоки разных сортов. Отец набивал ими карманы и выходил. И каждому встречному ребенку дарил яблоко...

Конечно, он мог продать эти яблоки на рынке, ведь жили-то мы не очень хорошо. Но он никогда этого не делал. Он знал, что не у всех соседских ребятишек есть свои яблоки.

В моих карманах нет яблок. Но если мне вдруг встретится кто-то из наших работников с сыном или дочкой, у меня всегда найдутся какие-то сувениры, значки, жвачки, шоколадки... Я не готовлюсь специально к таким встречам. И тем не менее, неосознанно, наверное, повторяю в этом моего отца.

...Года четыре назад отец приехал ко мне в Москву. У него был какой-то странный кашель, и я сказал ему: давай, мол, сходим в больницу, узнаем в чем дело.

Врачи проверили его и сказали мне: «У вашего отца рак. Сделать ничего нельзя. Жить ему осталось максимум три-четыре месяца».

Об этом я сказал только матери. И она так ухаживала за отцом, что он прожил еще год и два месяца. Медики, которые поставили ему диагноз, не могли в это поверить. Хоронил его весь Горис.

Было так много народу, что пришлось перекрыть движение, поставить столы прямо на улице и принимать пришедших в несколько приемов—по 500-600 человек.

Когда сели за стол и подняли рюмки, вдруг хлынул ливень,—хотя до этого ярко светило солнце. И нам всем показалось, что природа тоже оплакивает смерть моего отца. А через пять минут снова засияло солнце.

...Однажды мы с бабушкой отправились в дом одного нашего богатого дяди (он еще в старые времена занимался коммерцией)—не помню уж, то ли за солью, то ли за сахаром. И вдруг чувствуем: пахнет жареными курами. Но самих кур мы так и не увидели: дядина жена их спрятала.

Когда же дядя с женой как-то пришли к нам, бабушка тут же поджарила курицу и поставила ее на стол. И дядина жена сказала бабушке:

—Варсеник, почему ты такая щедрая? Последнюю курицу для нас изжарила... А ведь вечером твои придут, чем их кормить будешь? Или ты сделала это, чтобы нас удивить?

—Об этом я не думала,—ответила ей бабушка.—Я делаю то, что могу, и из того, что у меня есть.

...В четыре года я испытал очень острое чувство стыда. Мы все сидели за столом, а бабушка вдруг встала, чтобы что-то принести. И я, решив подшутить над бабушкой, отодвинул в сторону ее стул. Бабушка вернулась и... села на пол. Наверное, ей было больно, но она встала, не подав виду, что ушиблась. Дедушка посмотрел на меня и тихо сказал отцу: «Ребенка не трогай. Он, конечно, уже не маленький, но еще и не большой...»

Мы закончили ужин, как будто ничего не произошло. Правда, потом отец все-таки нашел возможность где-то в углу нашлепать меня. Но это был единственный случай, когда он меня наказал. С тех пор я никогда не позволял себе хотя бы словом обидеть бабушку и всегда слушал ее.

...В Горисе есть маленькая часовня—четыре столба, икона и лампадка. Там всегда стояла стеклянная банка—в нее верующие клали деньги для тех, кто поддерживал в часовне порядок.

И вот однажды—я тогда учился в третьем или четвертом классе—мы, мальчишки, решили забрать эти деньги, чтобы купить девочкам конфеты. И не долго думая, совершили этот подвиг.

Мне же после этого стало как-то не по себе. Я пришел домой и рассказал все бабушке Варсеник. Она говорит: «Я не могу считать себя настоящей верующей, поэтому не имею права судить о твоем поступке. Но мне кажется, что вы сделали плохое дело. Давай посоветуемся с бабушкой Зумрухт. Она верующая и все скажет точно».

Бабушка Зумрухт сразу же сказала, что мы совершили ужасный поступок. И тогда я и обе моих бабушки побежали к часовне и положили в стеклянную банку столько денег, сколько мы из нее взяли.

И бабушка Зумрухт сказала мне:

—Хорошо, что ты ничего не скрыл от нас. Ведь иначе Бог обязательно наказал бы тебя.

...С годами бабушка Варсеник стала плохо видеть. И я читал ей газеты вслух. Я очень любил бабушку и потому, читая, вовсю фантазировал, чтобы доставить ей радость.

Когда в 1961 году разразился карибский кризис, бабушка очень волновалась—ведь в любой момент могла начаться война. И вот как-то раз, открыв газету, я «прочитал» ей заметку о том, что в Латинской Америке возникло новое могущественное государство, которое пригрозило и американскому президенту и Хрущеву, что если они немедленно не закончат миром свой глупый спор, то это государство накажет их обоих.

И бабушка поверила мне...

—Ну, теперь-то, наверное, все будет хорошо,—сказала она.—Только вот почему мы раньше ничего не слышали об этой стране?

Вечером у нас собрались гости, пришли мои дядья, среди которых был и учитель истории, и бабушка, вдруг вспомнив о заметке, которую я ей «читал», говорит мне: «Принеси газету».

Я попытался отвертеться, мол, не знаю, куда ее задевал. Однако в конце концов мне пришлось ее принести.

—Читай...

И я снова «прочел» сенсационное сообщение. И все гости с серьезным видом выслушали меня, оберегая своим молчанием бабушку. Думаю, что взрослые сочувственно отнеслись и ко мне: они ведь прекрасно понимали, почему я так поступил... И конечно же, никто не попросил у меня газету, чтобы своими глазами увидеть эту статью.

...Я учился сначала в школе-восьмилетке, а потом перешел в другую—одиннадцатилетку. И там оказался за одной партой с девчонкой, которая стала моей первой любовью.

Стоило ей на меня посмотреть, когда я выходил к доске—и из моей головы все вылетало... Мы просидели с ней за одной партой четыре года, и за это время не сказали друг другу ни единого слова. Только переписывались. Я прихожу—передаю ей записку.А на следующее утро она отвечает мне—тоже запиской. Эта девочка была отличницей и держалась очень гордо. А ее ответы были всякий раз примерно такими: «Зря стараешься... Все равно ничего не получится...»

После окончания школы она поступила в Ереванский медицинский институт, а я стал студентом Ереванского политехнического. Мы не встречались. Но мне было очень трудно жить в одном городе с ней.

Поэтому в один прекрасный день я пришел в военкомат и сказал, что хочу служить в армии и поэтому оформляю академический отпуск.

—У меня к вам единственная просьба,—обратился я к военкому.—Поскольку я иду в армию добровольно, сделайте так, чтобы я служил либо в Москве, либо в Московской области.

В Москве было место только в стройбате. И в феврале 1965 года я оказался в нем. Оказалось, что тем самым я определил свою судьбу: наша часть занималась ремонтом и установкой сантехники. Мне эта работа нравилась и после демобилиза[illegible] я пришел на на завод сантехническкго оборудования.

...Лет пятнадцать назад я получил телеграмму, что бабушка Варсеник умирает. Сразу же бросил все и приехал в Горис.

Бабушка уже никого не узнавала, и если ей говорили: это, мол, твой внук, а это —сын, она не верила: «Нет, вы меня обманываете...» Но меня она узнала. Что я мог ей сказать? Только одно:«Ба-

бушка, не умирай!» А она смотрит на меня, взгляд постепенно проясняется, и говорит: «Не буду».

Прошла неделя—бабушке стало лучше, она начала узнавать близких. И после этого прожила еще четыре года.

...О том, что бабушка умерла, я узнал только после ее смерти. Поэтому о последних минутах Варсеник знаю только по рассказам.

Когда родные пришли с ней прощаться, она разделила их на два ряда: «Вы встаньте слева, а вы—справа». А потом сказала: «Пусть со мой сначала попрощаются те, что слева...»

Видимо, одних она считала хорошими людьми, а других —не очень...

Когда к ней подходили те, кто стояли слева, она каждого целовала в лоб, а когда стали подходить стоявшие справа—она уже была без сознания...

Бабушка была очень добрым, милосердным человеком. Почему же она так поступила? Она не могла лукавить в свой последний час. Конечно, она и раньше знала, кто чего стоит, хотя никогда никому ничего не говорила. Но перед смертью нашла в себе силы дать оценку каждому. И, как показало время, бабушка не ошиблась.

...В Горисе жила и моя прабабушка. Ей было 99 лет, а весила она не больше 35 килограммов. Нам, ее внукам, было очень приятно посадить бабушку на плечо (она, правда, сопротивлялась) и пройтись с ней вот так по улице, чтоб все видели, какая она у нас хорошая...

Когда мы возвращались домой, она говорила:

—Ну вот, покаталась в бесплатной карете. Город посмотрела, с соседями повидалась... Спасибо...

Прабабушка прожила очень трудную жизнь. В 1919 году она потеряла мужа и осталась одна с восемью детьми. Каким-то образом она узнала, что ее мужа убили, и решила во что бы то ни стало найти место, где он похоронен. Странствовала два года и в конце концов отыскала останки мужа. Оказалось, что после того, как его убили, ему отрезали голову...

Она выкопала череп, завернула его в тряпку, привезла домой и похоронила в родном селении—Хндзореске. За годы войны

между Арменией и Азербайджаном его разрушили. А ведь это селение—один из исторических центров Армении: здесь похоронены наши знаменитые полководцы и цари.

Когда прабабушка умерла, собралось великое множество ее детей, внуков, правнуков... Похоронили бабушку в ее родном селе, рядом с мужем. А гроб с ее телом не везли—передавали из рук в руки на всем протяжении пути...

Горис находится рядом с границей. За нею—Азербайджан. И оттуда установки «Град» обстреливают город.

Наш дом цел: моя мать, сестра с мужем и тремя детьми живут в подвале. А вот дома по соседству разрушены.

В этом городе, где морозы зимой доходят до двадцати пяти градусов, нет ни газа, ни дров. А на пенсию, которую получает моя мать, можно купить килограмм помидоров.

Когда не было этой глупой и страшной войны, в Горисе было изобилие: азербайджанцы (со многими из них мы дружили семьями) привозили к нам на продажу все, чего только душа пожелает. А сейчас фрукты и овощи в Горисе очень дороги: в нашем горном районе все плохо растет.

Я не раз говорил матери: «Переезжай ко мне в Москву.» Но она ни в какую: «Здесь похоронены наши родные. И я должна хотя бы раз в месяц их навещать.»

Гамлет Мирзоян достиг немалых успехов в бизнесе. И одна из причин этого в том, что он редко ошибается, почти всегда угадывая, кому доверять, а кому—нет, кому можно дать миллион под честное слово, а с кем нельзя завязывать никаких отношений.

Чем же объясняется его проницательность? Может быть, тем, что в его душе есть те самые бережность и нежность, которые, убирая внутренние преграды, дарят ему зоркость взгляда, недостижимую для тех, кто смотрит на других либо с чувством превосходства, либо сквозь завесу зависти, презрения, ненависти...





Сергей БИРЮКОВ

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Иногда стихи пишутся из чувства протеста. Но еврейская мелодия для меня слишком особая—это просто чувство, а не тема. Чаще всего это чувство входило в стихи неназываемо, пожалуй, оно понятно только одному близкому мне человеку. Но среди своих рукописей я нашел и такие стихи, в которых слово явно обозначено.

Автор

ПАМЯТИ АКТРИСЫ

Н.З.Пресайзен-Коломийцевой

Как будто с полотна сошла Шагала
на миг, и в новь вернулась в полотно.
А нам живым так мало, мало, мало,
Всего лишь приотдернула окно.
Всего лишь занавеску приоткрыла,
там луч играл, цвела голубизна.
Намека малого не проронила,
что за спиной вершина, но без дна.

1987

* * *

Ветвь меньша́я от древнего рода,

дочь развеянного народа,
чудом выношенное дитя,
я любовью согрею тебя.
И воскреснет на дереве вишня.
В Книгу Судеб два имени впишут
те, чья жизнь еще впереди.
Сохрани. Отведи. Огради.

1987

* * *

Наоборот слова на идиш,
смысл одинаков,
и древним зрением ты видишь
мерцанье знаков.

Как будто в Книге Бытия
стрелой навылет—
оттиснута любовь моя
уже на и́врит.

1987

* * *

Люфт еврейского местечка,
где Эсфирь и Соломон
у древеного крылечка,
словно спит и видит сон.
Лето длится,
лето пахнет—
снится им
заповеданное Яхве—
Иерусалим.

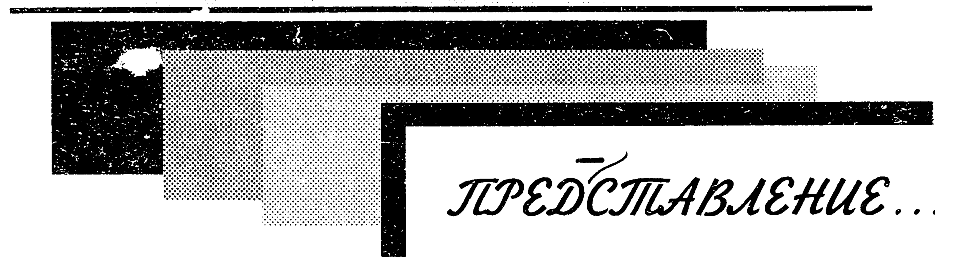


Евгений РЕЙН (Москва)

ГЕТТО

За синагогой в еврейском квартале
В лавочке тесной куплю магендовид.
Все это было в конце и начале,
Больше никто меня не остановит.
Ну-ка, Дахау, дыхни мне на рыло,
Эй, Колыма, подморозь мне колеса,
Дайте мне в баню еврейское мыло
И отвезите меня на допросы.
Что мне сказать—я не знаю ни слова,
Смертный озноб подсупает по жилам,
Что́ моя правда и что́ ваша злоба—
Только воняют унылым кадилом.
Дайте мне в руки «калашников», что ли,
Или подвесьте на пояс гранату,
Дайте хоть в эту минуту мне воли,
Больше уже ничего мне не надо.
Пусть мне споют на прощанье артистки
«Синий платочек», а лучше «Хорст Вессель».
Я бы хотел расстрелять эти диски
И подорваться. И стану я весел.

1988
Будапешт



Живу друзьями, хлебом-солью, привечая.
Г.К.

...Валерий Исаянц—статья особая, несусветная. Более вдохновенной, от жизни оторванной, неустроенной творческой натуры не встречал я. Его, как щель в скале, настроить на звучанье способны любой звук и ветерок. Закажешь акростих—в минуту будет, месяц поскитался по знакомым в Ленинграде—поэма «Обводный канал», попал во Львов—и разразился циклом удивлений: влюбился, разлюбил(?)—нате лирическую драму в шестнадцати явлениях «Действо о Жанне д'Арк».

Пишет, печатает на всем, что под руку попало, поставляя редакциям квитанции прачечных, бланки театра на Таганке. Как и Велемир Хлебников—дервиш поэзии, но со своим лукавством, талантом и беспутством, наивностью ребенка, хваткой мужа. Баловень женщин и всего живого, но не века. Заканчивал факультет филологии в Воронеже, учительствовал, сотрудничал в газете за Уралом, остальное время бедствовал и шиковал за счет родителей и оглушенных своеобразностью поэта добряков. Издал сборничек, были публикации в Ереване, столичный «Советский писатель» намеревался издать книгу, но перестройка общества с соц. на кап. лад свела на нет усилия друзей, издателей. А в остальном, по психиатричкам мыкаясь, исхлопотав инвалидность, Валерий Исаянц живет, не знамо что жует, седеет, не зная счета дням, деньгам, стихам, друзьям... добро и зло весам не доверяя , и спрашивать с него, что с облаков. Будь ныне век XIV-й, а не XX-й, быть бы в Воронеже часовеньке златоустого блаженного Валерия.

Коль прижилось понятие «круглый дурак», почему не быть поэтом «круглым»? Не бссловесный беслове с Валерий, поэт круглый, и потому, что ни скажи о нем, все будет правдой, т.е. попаданьем в круг.

С некогда русым и курчавым, словно Пушкин, журналистом «Вечерки» Ильей Рейдерманом судьба свела меня в конце 60-х в Кишиневе. В холодном и голодном холостяке, в манере речи, мимике и поведении значительная одаренность Ильи среди людей, полных решимости бездельничать, угадывалось за версту. За что ему не раз доставалось...

В 1972 году Рейдерману удалось напечатать подборку сти – хов в сборнике молодых поэтов, в 1975 то же издательство «Картя Молдовеняскэ» удостоило Илью сборником «Миг». Из Тирасполя (там он несколько лет работал литературным консультантом при театре) Илья, женившись, попал в Одессу. На жизнь зарабатывал чтением лекций в общежитиях, врачуя душевные раны молодых тугой повязкой слов, и, слава Богу, что не умер «под стихом, как под забором»... И вот живет в безвестности тихо и мирно, уповая на свою единую и неделимую суть, дальновидно написав лет тридцать тому назад: «Я жил. Меня писало время. И жизнь на белый лист легла, как строфы в маленькой поэме, забытой в ящике стола.»

На то ли, спрашивается, цивилизация, век XX-й, чтоб лучшим доставалось место у тюремных параш и на больничных койках психушек?.. Отказываюсь понимать страну, время и людей, среди которых вольготно ушлым, а не умным.

Исаянц и Рейдерман... Валерий и Илья... Они настолько разные, насколько непохожи могут быть люди. Роднит же их язык, страна и искра божия.

Георгий КОВАЛЬЧУК



Илья РЕЙДЕРМАН (Одесса)

НАЧАЛА

* * *

Воспоминания—не дом, а дым.
Еще клубятся—но живем иным.
И в сторону уносит по кривой
разъятый прах минуты неживой.
Но горький воздух—камня тяжелей.
Летит, недвижим, сквозь движенье дней.
Среди машин, забот, бегущих толп
лоб расшибешь об этот дымный столп,
и вдруг поймешь: прочнее, чем гранит—
ушедшее. На том—душа стоит.

19 мая 1977

* * *

А жизни тоненькая нить
того гляди и оборвется.
И нужно длить ее и длить,
покуда это удается.

Навеки породнить спеша
два мига, двух сердец биенье...
Лишь это целое—душа,
отдельности преодоленье.

Соединять живою нитью—
порою наспех, на-авось—

все впечатленья и событья,
всё, что без нас тоскует врозь.

Да, жить, чтоб не зиял пробел,
всем телом бездну прикрывая,
кривым стежком стянув два края.
не вопрошая, где предел.

* * *

В автобусе—голодный, злой, усталый,
в окне слежу мелькание огней.
И улиц мимолетные провалы
разверзнутся, и тьма еще темней...

Асфальт, деревья, окна, рельсы, зданья,
машины, небо, стены, фонари—
все сбилось в ком, несется без названья
и без сознанья, что ни говори.

И знать нельзя, какая жизнь осталась
неузнанной за огненным стеклом,
что, промелькнув, сейчас же затерялась,
покуда я дорогою влеком.

Но вот ползет махина вверх и вбок,
и город лег внизу, огнем играя,
ночные небеса напоминая,
одновременно близок и далек...

Выходит, что и мы—среди созвездий
несемся, опрокинув небеса?
О небо, что внизу! Простор безвестный,
одолеваемый за полчаса...

* * *

Сидели, под хмельком болтая
легко и славно, ни о чем.
И пролетела птичья стая
в вечернем небе за окном.

Благословим случайность встречи
и воздух близости простой.
Благословим полет их вечный
ввысь, над земною крутизной.
И суть не в том, что жизнь уходит...
Пускай идет, она—в пути.
Но что-то крепнет, что-то бродит
в душе, томится взаперти,

и так же запросто, как в детстве,
листает будничные дни,
с безбожным вымыслом в соседстве
и братству птичьему сродни.

И прямо в русло разговора,
где рядом с главным пустяки
войдет дыхание простора,
скупому быту вопреки.

Рассеянно и между делом
посмотришь птичьей дали вслед,
и вдруг существованьем целым
поймешь: конца и вправду нет.

НАЧАЛА

Я помню, что улыбка, будто птица,
внезапно отдалялась от лица,
взлетала, и не ведала границы
меж мной и миром, длилась без конца.

Я помню: в каждом было нечто птичье,
обещанный и чаемый простор.
Таил в себе полуразумный взор
души и мира общее величье..

Мы узнавали: есть всему причины.
Нас обучал небескорыстный быт.
И спит улыбка в глубине морщины,
как в коконе—бескрылая—лежит.

Не повторенье жизнь, всегда—начало.
И подступают молча времена,
и требуют, чтоб птица вылетала
из каждого лица, как из окна.

* * *

Деревья зимою—не помнят о лете,
не видят, не слышат. Бесчувственный сон.
Как будто и не было солнца на свете.
Забылись. Изъяты из связи времен.

Деревья зимою—в себя убежали,
В последний оплот своего естества.
То дождик, то снег... Но все выси и дали—
в тех тайных глубинах, где жизнь чуть жива.

Проходим—и не обращаем вниманья
на ветви, что в небе безмолвны, черны.
Но, может, и в нас за пределом сознанья
Клочок мирозданья—комок тишины.

* * *

Г.Немчинову

Вижу птиц улетающих стаю,
и ребяческим чувством томим:
ну, а вдруг не вернутся, оставят
это небо навеки пустым?

Дышим воздухом влажным и стылым,
не летим за мечтой о тепле.
Но без птиц это небо—пустыня,
что все ниже,все ближе к земле.

Оттого-то, наверно, и дорог
мне какой-нибудь жох-воробей,
обещающий в зимних просторах
небеса, что и хлеба нужней.

ПОСЛЕНОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА

Вот и красавицу-елку раздели.
Праздник недолгий—прошел в самом деле.

Сыплются на пол иголки сухие.
Мы к вам привыкли, будни нагие!
Хрупкость стекляшек—снова в коробку.
Нету поблажек. Новую тропку
нам протоптать, чтобы где-то вдали
будням отпетым—черту подвели.

Только ведь жалко и снега, что тает.
Праздника эхо—елка нагая.
Запах смолы, чтобы комнатный дух
стал незнаком, без прорех и прорух.
Словно простором—вышибло пробку.
Дали и выси—нам на обновку.

...Что же нам делать, сухая игла?
Жизнь прошивая—все отдала.

январь 1977

ПРОСТРАНСТВО

Оно бывает молодым и старым—
пространство. Погляди: три деревца
средь поля. И своим величьем малым
как будто говорят, что нет конца.

Как молодо, как зелено, свободно...
Как эта ширь плывет в другую ширь...
Материя, что не сгустилась плотно
в сплошную глушь, в матерую Сибирь.

Но даль слабеет, из себя рождая
дома, деревья, разные тела.
Мы сами, из пространства вырастая,
вдруг постигаем, что земля—мала.

Но даль стареет, наполняясь гулом,
движеньем, страстью, делом и судьбой.
И вот—как бы растаяла, уснула,
исчезла, перестала быть собой.

Ау, пространство! Только оболочка
пустая. Самолетом полоснем,
пройдем насквозь. Быть может, знает почка
о нем, вконец раздаренном, о нем...

Но маюсь я и сам не оттого ли,
что—скрюченный, спеленутый—во мне
вопит глухой простор и жажда воли,
круша ребро и в глубочайшем сне.

Какой свобод/ой втайне жизнь прекрасна?
Что возникает, мысли вороша?
То из меня—рождается пространство.
Увы, невидимое—как душа...

СЕНТЯБРЬ

Быть может, еще и неясен
времен и судьбы перелом,
но день, что как прежде прекрасен,
уже говорит об ином.

Деревья—не чувствуют боли.
И перед грядущей зимой
в них столько простора и воли,
и жизни бесстыдно-живой!

О, лишние эти недели
и праздная ясность небес...
Все то, что сказать не успели,
утратит и форму, и вес.

Что делать—душа уже вышла
отсюда. Оставила дом.
Так пышно. Недвижно. Неслышно.
И тайный избыток во всем

СТАРЫЙ ПЕЙЗАЖ

Мост и прозрачный лед реки,
и островерхие строенья.

Годам ушедшим вопреки
пейзаж открыт для обозренья.
Ну вот, не все тебе, мой век.
Иная даль открыта взгляду.
И этот грязноватый снег
не тает три столетья кряду.

И неизменен свод небес
в картине круглой,словно око
бинокля... В чем ваш интерес?
Охота—посмотреть далёко...

Такая даль, такая тишь,
так от насущного свободен,
что, воздух вытолкнув, молчишь,
на миг бессмертью соприроден.



Валерий ИСАЯНЦ (Воронеж)

МУЗЫКА

К Вам переходит дар святой,
И Вы за то меня простите,
что, как портной, для Вас пальто
Я примерял из всех наитий,
Кроя из тайн, творимых в дне,
Я шил Вам звездное объятье,—
За перемер—не по вине
Вы подыскали мне проклятье!
В чертополохе ропщет лоно
Души и песни,—не вольна
В Вас откровеньем просветленным
Из глубины взойти вина!
Дай, Жизнь, безропотно, сполна
Еще вздохнуть мне скорбной грудью,
И, отрешив от праздных дел,
Останови на перепутьи

Души и духа, звезд и тел,—
В горячей музыке сцеплений
Земной страды и вышних сфер:
В них мой учитель и пример.

* * *

Небо осени размыто,
На разводах желчь и ржавь,
Но доверчиво открыта
Побледневших далей явь.
Нет цветов уже в игре
Светотени на рассвете,
И вчера не знобный ветер
К злой примерился поре.
Поднимая воротник,
Различая лай собачий,
Неоткуда я возник,
Никуда себя не спрячу.

* * *

Белая ткань в кружевах темно-талых,
Легких туманов парное витьё,
Воздуха холод, и воздуха мало
С целой зимы, как не спросишь с нее.

Выйдите к пóлудню в солнечный сбитень
Снега, тумана, молочных паров,
Носом дышúте, и прямо идите
Мимо дымящихся сонных дворов

В березняки, где деревья растеряны,
Где еще слышен трепещущий лист,
Где родником соглашенье заверено
Таянья с холодом, воздух—лучист!

* * *

Ан.Ив.Григорьеву

Ты видишь этот лист живой
Недвижным: он окован ранью,

И в неподвижности его—
Томительное ожиданье.

Не мыслит он себе подлог
В том, что придет к нему, быть может,
И невозможного по коже
Струится леденящий ток.

Он ждал немой и обреченный,
Но свежий ветер шелестит—
И лист, так звонко изумленный,
Зеленым пламенен горит.

1972

* * *

Был тронут сольный громом в перистых,
И перезвоном в холостых,
Ушел в созвездие, и шелестом
Сухие колыхнул листы,
И строем отражен с вершинами,
Проторцевал по мостовым,
Неоном жегся и клешинами,
Сгустел на краешке травы,
И, вызрев на лозе терновника,
Как страшной высоты эскиз,
Всклянь побратался с розой коврика,
Окутав громом лепестки.

22 февраля 1987

МУЗЫКА

Наталье Гутман

Прости меня... но нет слезы,
Как у тебя... такой горячей...
Твой, Музыка, жених иль сын,
Для неги странствий слезы спрячу...

Верни меня твоим словам,
Твоим движениям и взглядам,
Ты для меня—одна права.
Я не по праву встану рядом.

Ты так играла в зтот раз,
С таким томительным задором,
Что целый мир пылал и гас
У ног пророческой виолы...

Продли меня, виолончель,
В твою мерцающую память,
Верни мне темный звук речей,
Творимых скорбными губами...

ОРГА́Н

Как это не похоже на орга́н,—
Огромный страстный дом звукоприимный...

Царя Давида прядают меха
Молитвенным и легкоструйным гимнам...

Приют пророчиц, или тайных нот,
Невыявленных звуков мирозданья...

Я нажимаю клавиши, и вот—
Растут и множатся сферические зданья...

Орган-свирель, кто взял меня в тебя,—
До немоты сражен единогласьем,—

Я слышу все—там ангелы трубят
За чтением немотного согласья...

Там есть Гомер, там всходят все века
Истоком, тайным током позвонка,

И в высшей ноте—самый жуткий миф
Журчит легчайшим танцем Суламифь...

КОКТЕБЕЛЬ

Памяти М.А.и М.С.Волошиных

Есть память Земли о томившемся духе
На этом плато, в той долине, в горах,
Где в ветре роятся сомненья и слухи
И ночь, наступая, спадает как прах.

Теснины и скорбь. И крутые овалы
Горячих холмов: одного за другим;
Прибой кружевной и лиловые скалы,
Широких заливов благие круги...

На черной поляне, за треснувшей склянкой
Массива крутого с настоем луны
Маслин колебаньем являет гречанка
Магический танец дорической мглы.

Есть память Земли, неподвластная срокам,
А небо бессрочно и родственно ей,
Когда в забытьи, как в волненьи глубоком,
Она оживает дыханьем полей

И запахом трав... Это вдох поколений
Застыл, забродивший... В расцвете холмов
И в ветре цветном—переменчивый гений
Держав, человека, раздумий и снов.

Есть память Земли, подтвержденная снами!
Так дремлют на солнце, ладонью прикрыв
Глаза... И, бренча удилами
Гнедого коня, возвращается скиф.

Но там, где готовит он в бой миллионы,
Откуда он морю и миру грозит,—
В ленивой листве, у истока, на склонах
Армянский алтарь, как ребенок, стоит.

Май 1977
Москва

Все проверено: все, что осталось,—.
Каллиграфия, прочерк и лист,
Вновь готовый стать деревом...Талость
Под ногами и воздух—лучист,
Нет изыска в готовности к ночи,
Но себя тем труднее найти,
Чем пути безответно-короче,
Иль, вернее, вообще нет пути—
Только каллиграфический почерк.
Лучше—дерево... Прочат листы
Не об иске и встрече,—о прочем,
Вновь о том, как листва шелестит,
Вновь о братстве святом в Арташате,
О прозрении— в шелест себя,
Коим осень монетой оплатит
Самой стоящей—млея, любя. . .
Вновь и снова: кресты, многоточья
Мира звезд и опять—тишина,
В коей каллиграфический почерк,
Прочерк, таль под ногами, сосна...

АРМЯНСКИЙ АЛФАВИТ

Ширак—пергаментные дали,
Вдруг развернулись свитком лон
И твердь обуквилась звездами,
И погрузила небосклон
До дна узора алфавита...
Край плыл, как сопричастный вид,
Где скиния Творцом открыта
И Айастан во тьме горит,
Устами ночи воздух пьет,
И рыбы водят хоровод
Вселенским смыслом перевиты.

* * *

Облаков-караванов
Над землею прогиб,

В горнем вдохе Севана
Слышен облачный хрип,

Караван-Арарата
Белый сколок вдали,

И звездою чревата
Магма синей земли.

ЗУРНА

Какого вишáпа* закляла зурна
по звездным дорогам петляя?
Мой день начинался пространством из сна,
И сон—его отзвуком таял. . .
Текла, каменея, в ущелье Касах
Река в лунно-солнечных иглах,
У красных прибрежий синела лоза,
И песней входящею никла...
Там горький зурнист предлагал забытье
И память халдейского неба,
И песня цвела, и я брал у нее
Все то, чем я был или не был...
Серебряной девочкой церковь взошла—
Где звезды пошли хороводом...
А днем было душно... И нá два весла
Разъялась, сжимаясь, природа.
Направо—гусанская** млела полынь,
Налево—бродячие скалы. . .
Земля была небом...Твердели миры
Полуденным хлебом опала...
Какого истока в тебе правота,
И что, кроме смерти и боли,
Ты мог пригубить, прижимая у рта
И ветер, и горы, и поле?

*В и ш а п–культовое чудовище, символ божества воды; во многих местах Армении сохранились огромные камен– ные изображения в и ш а п о в в виде рыб.
** Г у с а н–так называли в древней Армении народных поэтов–певцов, музыкантов, сказителей.



Борис ФРИМЕРМАН (Ереван)

...У НАС ЕВРЕЕМ СТАНОВИТСЯ ЛЮБОЙ

Председатель еврейской общины Армении Герш-Меир Бурштейн на днях побывал в Москве и встречался с представителями посольства Израиля по поводу «русских иудеев».

Тора запрещает пересчитывать евреев. Поэтому, когда в свое время царю Соломону понадобились статистические данные о численности населения, он велел каждому принести по шекелю, и счет пошел уже в СКВ. В рублевом исчислении евреев осталось максимум на тысячу. А что сегодня купишь на такие деньги? Вот и уезжают евреи.

В общем-то, уезжали они всегда, хотя в Армении их всегда было мало. В 1985-1992 годах Армению покидало примерно 15 семей в год. Но потом процесс приобрел лавинообразный характер, и в одном только нынешнем мае тремя чартерными рейсами в Израиль вылетело около 300 человек. Рейсы были оплачены польской организацией «Друзья Израиля», или, как их еще называют, «христиане-сионисты».

Прошлым летом среди членов общины был проведен опрос на предмет отношения к выезду. Ответы распределились таким образом: «хотим уехать»—60%, «уже уезжаем»—30%,«думаем о выезде»—почти 10%. И только один человек заявил, что«не хочет и не думает». Ну а сегодня, по словам г-на Бурштейна, цифры, характеризующие положительное отношене к отъезду, значительно выросли. А того человека, который «не хочет и не думает», сыскать не удалось; видать, уже там... Если эта тенденция сохранится (а куда ей деться?), будущую зиму Армения встретит без единого еврея.

Согласно известной формуле «еврей не роскошь, а средство передвижения», в составе смешанных семей в Израиль выезжают армяне. Жен-армянок, как правило, не смущает сложная процедура перехода в иудаизм, поскольку они «готовы на все ради детей». По доходящим из Израиля обрывочным сведениям, эту проблему уже решило некоторое число женщин, уехавших 5-6 лет назад. Вообще же семьи из Армении неплохо приживаются на новом месте благодаря навыкам «восточных отношений»: армянские евреи отличаются коммуникабельностью, а уехавшие недавно к тому же упели пройти основательную школу тяжелой жизни, которая в Армении резко ухудшилась за последние несколько лет.

Некоторые граждане Армении, не имеющие к евреям никакого отношения, считают несправедливым, что их не пускают в Израиль, и предпринимают соответствующие усилия. Здесь резко повысился спрос на холостых евреев и евреек, но с ними всегда была напряженка, и кое-кто, отчаявшись, идет на подлог. Как сообшил коррепонденту «i» сотрудник тбилисского отделения Сохнута, в израильское посольство в Москве одной благотворительной организацией был передан «Список евреев» из 500 фамилий. После нескольких десятков «янов» первую еврейскую фамилию удалось обнаружить лишь на третьей странице.

Герш-Меир Бурштейн обеспокоен и проблемой небольшой самобытной общины, условно называемой «русско-иудейской». Это—15 семей, живущих в городе Севан: потомки выходцев из Тамбовской и Тверской губерний. Они приняли иудаизм в середине XVIII века, подверглись гонениям и в результате оказались в Армении. Они не знают древнееврейского, молятся по-русски, но уже больше двух веков строго следуют всем заповедям и предписаниям иудаизма. По Закону они считаются евреями, однако, по словам Бурштейна, разрешения на въезд в Израиль им почему-то не дают.

«iностранец», № 7, 28 июля 1993.



Юрий ВОРОНОВ (Сухуми)

АРМЯНЕ И ЕВРЕИ В АБХАЗИИ

Абхазия—маленькая причерноморская республика на Западном Кавказе. Язык коренного населения вместе с абазинским, убыхским, адыгейским и кабардинским образуют западнокавказскую (абхазо-адыгейскую) языковую группу. Сегодня более 700 тысяч абхазо-адыгов разбросаны по всему миру. Города и государственность стали частью Абхазии с VI века до н.э. с появлением здесь эллинских поселений (Диоскуриада—совр. Сухум, Гиенос—совр. Очамчира, Питиунт—совр. Пицунда и др.). В I-II вв. н.э. древнеабхазские «царства» Апсилия, Абасгия и др. находились в зависимости от Римской империи. Позднее (IV-VIII в. н.э.) Абхазия являлась глубокой провинцией Византийской империи. Саттелитом ее было и Абхазское царство (конец V - конец X вв.), включавшее в свои границы западное и центральное Закавказье до пределов Армении. В XI-XIII вв. на основе Абхазского царства сложилось «царство абхазов и картвелов», распавшееся под ударами монголов. В XIV-XVIII вв. Абхазское княжество вело отчаянную борьбу с мегрельскими и картвельскими (грузинскими) феодалами, стремившимися покорить абхазов. С помощью родственных народов северного Кавказа Абхазии удавалось сохранить свой язык, культуру и территорию. В XIV-XV вв. на ее побережье процветали генуэские колонии, в XVIII-нач.XIX вв. здесь размещались турецкие гарнизоны. В 1810 году Абхазия вошла в состав Российской империи на правах автономного княжества, а затем самостоятельного Сухумского военного округа. В октябре 1917 г. Абхазия вошла в Юго-Восточный Союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей, а в июне 1918 г. была оккупирована грузинскими меньшевиками, от которых освободилась в марте 1921 г. Основные этапы истории Абхазии в советское время: независимая ССР Абхазия (1921-1922), ССР в составе абхазо-аджаро-грузинской федерации (1922-1931), автономная республика в границах

Грузинской ССР(1931-1991), Республика Абхазия(с 1992 г.). Признание правительствами Грузии в 1989-1992 гг. недействительными всех конституций и государственных актов советской эпохи вытолкнуло Абхазию из границ Грузии де-юре, а начатая 14 августа 1992 г. режимом Шеварднадзе война противопоставила Абхазию Грузии де-факто.

Кавказ издавна называли «дорогой народов». Положение Абхазии как приморской и одновременно горской страны сделало ее территорию своеобразным мостом между Черным морем и Северным Кавказом, способствуя проникновению сюда греков, итальянцев, армян, евреев, иранцев, арабов, турок, славян. До недавнего времени в Абхазии мирно соседствовали граждане сто одной национальности.

Присутствие армян и евреев в Абхазии отмечено с эллинистической эпохи(III-I вв. до н.э.). Армяне находились в составе митридатовских отрядов, действовавших на территории Абхазии в конце II-начале I вв. до н.э. К числу памятников древнееврейской эпиграфики известный языковед Г.Ф.Турчанинов отнес обломок керамической плитки с тремя знаками из позднеэллинистической гончарной печи в пос.Красный Маяк (западная окраина Сухума).

В последующие два тысячелетия армяне и евреи постоянно проявляют свое присутствие как в археологических памятниках, так и в письменных источниках. Это эпиграфические памятники II-III вв.— золотая пластинка из Цебельды и каменная гемма из Ааци с наименованиями бога евреев (Яхве, Адонай, Саваоф); свидетельство о том, что руководство стоительством оборонительных рубежей и боевыми действиями византийцев в Абхазии VI в. осуществляли выходцы из Малой Армении Фома Армянин и его сын Иоанн; обломки вулканического стекла обсидиана, доставленные с Армянского нагорья армянскими ремесленниками и солдатами и обнаруженные в культурных слоях Цибилиума—главной крепости Апсилии; факты присутствия армянских отрядов и военачальников в горах Апсилии в начале VIII века, зафиксированные будущим византийским императором Львом Исавром; решающая роль Хазарского каганата, на рубеже VIII-IX вв. принявшего иудаизм в качестве государственной религии, в формировании Абхазского царства; тесные политические, экономические и

культурные взаимоотношения Абхазского и Армянского царств в IX-X вв., в том числе и абхазо-армянские династические браки; размещение в Абхазии представителей еврейской общины Тифлиса, изгнанной оттуда в XIX в.(в Гагре трудились тогда переписчики еврейских книг); сосуществование в Севастополе (средневековое название Сухума—современной столицы Абхазии в начале XIV в.) еврейской и армянской общин (согласно одному из итальянских документов, в 1330 г. представители местных православной, еврейской и мусульманской общин дружно организовали погром католического кладбища в этом городе); переселение из Армении и Персии армянских торговцев и ремесленников в Абхазию (Илори, Бедия и др.), организованное местными феодалами в XVII в.

С середины XIX в. в возрождавшихся по инициативе России городских поселениях Абхазии вновь формируются армянские и еврейские общины за счет переселенцев из различных регионов империи. С конца 70-х гг. начинается массовое переселение армян-амшенцев из Турции. В начале XX в. в Сухуме действовала синагога, армянское и еврейское училища,«Армянское благотворительное общество» и «Еврейское общество». В советский период обе ощины развивались относительно благополучно. По переписи 1989 г. в Абхазии обитало 76500 армян (по численности они уступали только грузинам, абхазам, русским) и 1500 евреев; среди армян преобладали сельские жители, среди евреев—горожане. Открытость общин привела к большому числу межнациональных браков, связаших местных армян и евреев кровным родством с абхазами, грузинами, русскими, греками.

Одновременно неустойчивость соцальной жизни, характерная для государственности третьего уровня, каковой обладала Абхазия как автономная республика, подогревала миграционные настроения в среде «некоренных» общин задолго до начала войны. Например, русское население сократилось за 1959-1989 гг. на 11782 человека. В 70-80 гг. стал сокращаться прирост армянского и еврейского населения; армяне активно переселялись в Россию, особенно в Краснодарский край, где чувствовали себя «людьми», евреи (прежде всего грузинские) уезжали в Израиль. После кровавых столновений между абхазами и грузинами в июле 1989 г. и особенно в результате распада СССР этот процесс усилился. С целью запугивания и вытеснения армян из Гульрипшского

района там уже в 1981 г. совершали террористические акты: взрывы домов, похищения и убийства, распространяли слухи о якобы финансируемым католикосом Вазгеном 1 заселении «исконно грузинских земель» в Абхазии армянами, звучали призывы к армянским погромам.

Помню, с какой тревогой в Сухуми восприняли сообщениея, как много евреев покидают СССР. А в прошлом году начался исход евреев из Абхазии, абхазы сравнивают его с махаджирством—насильственным переселением абхазов в XIX в. в Турцию и на Ближний Восток.

14 августа 1992 г. - один из самых черных дней в истории Абхазии. День начала войны, ставшей трагедией не только для абхазов и грузин, но и для всех жителей Абхазии. Считают, что по сравнению с другими евреям еще повезло—превительство Израиля прислало три «Боинга», которые вывезли из зоны боев свыше 700 челловек, почти половину всей общины, при этом уезжавшим предлагалось за гроши продать свои дома, квартиры, имущество, либо оставить нажитое «в дар» победителям. Точно известно, что в израильские самолеты попали и грузины, щедро заплатившие за проезд, в то время, как многим евреям пришлось выбираться из окупированной территории, как их прародителям из Египта. Один из них, доцент университета, доставил в Москву скрипку моей дочери, за что я буду благодарен ему до конца жизни. Они шли в Россию—врачи, инженеры, музыканты, юристы—оставив на разграбление свои квартиры. Многие остались.

В Гудауте я видел евреев-ополченцев. Среди бойцов, павших за свободу Абхазии—два еврея. Беженцы из оккупированного Сухума сравнивали его с Варшавским гетто. Мне пришлось отговаривать одну еврейку, требовавшую автомат, готовую идти в «Шромский котел», готовую отдать свою жизнь за освобождение родного города. Среди мирных жителей, павших от рук шеварднадзевских убийц, и 72-летний сухумский еврей Миша Абрамов по прозвищу «Борода», несколько десятилетий державший часовую мастерскую на углу улиц Мира и Ленина. В ночь на 24 января 1993 года он пытался выехать из Сухума в Сочи на катере. Грузинские «гвардейцы» ворвались на корабль, вырвали «Бороду» из толпы, раздели, отняли деньги, били, выкрикивали антисемитские лозунги, и бросили избитого голого старика на бетонный причал, где он умирал на глазах десятков людей. «Изгнав евреев, они обокрали Абххазию»,—сказал один абхазский политик

А армянам «гвардейцы» Шеварднадзе уготовили настоящий геноцид. Убиты сотни мужчин, женщин, детей, изгнаны из жилищ десятки тысяч людей, стерты с лица земли армянские села в Ачадаре, Лштухе, Лабре, Атаре Армянской, опустошены армянские кварталы и усадьбы в Гагре, Колхиде, Черниговке, Мерхеули, Мачаре, Мясниковке, Пшапе, Шаумяновке, Цебельде, сожжены и перепаханы гусеницами танков мандариновые, лимонные, абрикосовые сады, виноградники. Армяне взялись за оружие, чтобы защищать себя, был сформирован батальон имени маршала Баграмяна. В отместку шеварднадзевские каратели усилили террор. В апреле 1993 г. в полуразрушенном Сухуме они расстреляли 82-летнюю Варсеник Давтян-Тополян, мать заместителя председателя Верховного Совета Республики Абхазия Альберта Тополяна. А вот какая участь постигла село Лабра Очамчирского района.

Свидетельствует председатель колхоза «Лабра» Ардаш Аведян:

«До начала войны в селе было 530 дворов с населением 3200 человек. Представителями грузинской армии здесь совершены страшные злодеяния и преступления, грабежи, насилия и погромы, пытки и издевательства над мирными людьми. Танками, бронетранспортерами и другой тежелой техникой полностью уничтожены центральная и все бригадные дороги, табачные сараи, цитрусовые сады, кукурузные и табачные поля. Разграблена молочно-товарная ферма, похищено 70 голов скота, у населения изъято свыше 900 коров и быков, а также множество свиней, кур, уток и индюков.

Похищено 500 тонн зерна кукурузы, 150 тонн сухого табака, у населения отобраны личные автомашины, прицепы, мотоблоки, мотороллеры, велосипеды, мотоциклы—до 700 единиц...

До прихода гвардейцев на счету колхоза было 14 млн. рублей. Почти полностью эта сумма была изъята из банка. Помимо этого по дороге в село Ларбра было похищено гвардейцами еще 3 млн. руб. наличными. У населения было отобрано свыше 10 млн. руб. В каждой семье без исключения по пять-семь раз побывали гвардейцы, которые с неслыханной жетокостью обошлись с населением, грабя, издеваясь и терроризируя его. У многих граждан вырывали золотые зубы, были изъяты деньги, золото, ценности, домашняя утварь, все имевшиеся продовольственные запасы (мука, крупа, сахар и др.).

Вот неполный список зверски убитых жителей села Лабра:

1. Текнеджян Ашот—60 лет, колхозник, убит в постели;
2. Чепнян Варжен—жена Ашота, была задушена в постели, дом сожжен;
3. Баланко Валерий—33 года, отец четырех детей;
4. Калайджян Азатуи—55 лет, колхозник;
5. Геворкян Геворк—колхозник;
6. Тополян Киракос—57 лет, убит за то, что у него фамиля Тополян;
7. Зебелян Тигран—застрелен дома;
8. Зебелян Тоно—убит, сожжен в своем доме;
9. Устян Аракси—80 лет, пенсионер, зверски замучен и убит, дом сожжен;
10. Кешешян Шалико—50 лет, бригадир, застрелен;
11. Устян Тигран—55 лет;
12. Зейтунян Асмик—40 лет;
13. Мелконян Артил—106 лет, зверски замучен, били, пытали, переломали руки и ноги, затем расстреляли;
14. Аветисян Вагаршан—50 лет, замучен, расстрелян;
15. Керселян Сарик—65 лет, расстреляна...

Не все фамилии убитых известны... Всего по селу убито более 22 человек, свыше 100 пропали без вести, каждого второго жителя села подвергли нечеловеческим, зверским пыткам. Так Андрей Абедян, Геворк Матосян, Ашот Парцикян, Ерванд Домболян были взяты заложниками жителями соседнего грузинского села Цагера, и по сей день о них ничего не известно. По свидетельству многих лабрцев, в пытках и истязаниях людей, наряду с гвардейцами «мхедриони», особую жестокость проявляли жители соседних грузинских сел Цагера, Кочара, Ахалдаба, в большинстве своем сваны. Пытки применялись к простым колхозникам, ветеранам, молодежи, лицам, которые до того ежегодно сдавали государству до 2 тонн табака, трудягам, далеким от политики и межнациональных отношений, людям, жившим в этом селе еще с 1915 года, бежавшим сюда когда-то от ужасов турецкой резни».

Свидетельствует бывший бригадир Хачик Галустян.

«На табуретке делали отверстие, туда сажали мужчин и женщин, предварительно изувечив их (женщин насиловали по 15-20 человек),

срывали с них нижнее белье и снизу поджигали, пытали людей огнем и подвергая смертельным ожогам. Таким пыткам подвергли Зину Полозян, ее мужа Вазгена Полозяна, Габриэла Мелконяна, Анжика Аведяна и многих других. Многих старух старше 80 лет раздевали догола и заставляли ходить по снегу с раскаленными углями в руках. Им наносили ножевые ранения, стреляли под ноги, всячески унижали их человеческое достоинство. были случаи изнасилования старух и молодых».

Свидетельствует табаковод Вагаршак Минасян:

«Это было днем, часа в три. Собрали семью Рафика Рубеновича Текнеджяна, Сурена Рубеновича Текнеджяна, Тиграна Казанджяна, их матерей, жен, детей, племянников, других родственников—человек 20, и заставили их вырыть глубокую яму недалеко от дома. Затем старух, малолетних детей и женщин загнали в яму, а мужчинам приказали засыпать их землей. Когда засыпали землей выше пояса, гвардейцы сказали: «Принесите деньги, золото и много, не то закопаем всех вас живыми.» Собралось почти все село, стоял неимоверный крик, дети, старухи, мужчины рыдали, моля о пощаде. Это была жуткая картина. В который раз односельчани собрали деньги, золото, кольца, кто что имел... Только тогда отпустили почти обезумевших от страха и ужаса детей... У здания администрации стояли люди длинной очередью до 600-700 человек, чтобы «сдать» гвардейцам и сванам золото, деньги, ценности, чтобы спасти свои жизни и жизни своих семей. И так продолжалось несколько месяцев, пока люди не стали полностью нищими, у них отобрали все, что было нажито за долгие годы. А затем они бежали, куда глаза глядят, кто куда смог ноги унести, оставляя на растерзание родные очаги, села, близких... Зверски избили бригадира колхоза Галуста Галустяна, разграбили весь дом, взяли автомашину ГАЗ-24, все имущество, начиная от вилок и ножей и кончая мебелью, мукой, манкой, сахаром, компотами, бельем, детской одеждой, книгами. Словом, все, что было в доме и во дворе, было взято, а затем по цитрусовому саду прошлись на танке и оставшееся подожгли...»

Свидетельствует табаковод Андрей Саакян:

«В нашем селе было около 900 домов и проживало около 3000 жителей. Сегодня этого села нет. Оно полностью разрушено грузинской артиллерией... Вначале всех нас ограбили, отобрали деньги, золотые украшения, всю радио и видеоаппаратуру. Затем жители близлежащих грузинских сел, прежде всего сваны, подогнали автомашины и увозили всю домашнюю утварь. Потом танками ломали заборы и строения, вытаптывая мандариновые деревья, другие насаждения... Во время войны немецкие фашисты сожгли в Чехословакии село Лидице. Но почему-то никто не говорит о трагедии села Лабра. А как оценить издевательства и убийства мирных жителей без суда и следствия? Кто утешит изнасилованных женщин, кто залечит раны тем, у кого плоскогубцами выламывали золотые зубы?»

Распад державы высвободил страшный поток черной энергии, превратив одних людей в диких зверей, других—в их несчастных жертв. Сон разума Эдуарда Шеварднадзе, его отечественных и зарубежных соратников и исполнителей их воли породил чудовищ, терзающих многонациональное население Абхазии, Грузии и Кавказа в целом, убивающих, пытающих, грабящих, разрушающих экономику республики, электростанции, всю систему жизнеобеспечения, культуру и природу.

Читатель! Кто бы ты ни был, склони голову перед могилами и слезами невинных жертв очередного произвола политиков. А затем постарайся сделать вокруг себя все возможное, чтобы чаша сия, испитая до дна народом Абхазии, миновала тебя и близких твоих...



Аракел ДАВРИЖЕЦИ



История евреев, проживавших в городе Исфахане, а так же и других евреев, которые проживали под владычеством персидских царей, [о том], по какой причине их вынудили отречься от своей религии и принять веру Магомета

После выселения армян из центра города Исфахана было положено начало также и выселению евреев.

Однажды в преиод царствования этого шаха Аббаса второго в 1106 году армянского летоисчисления (1657) (то было в пятницу вечером накануне субботы), тот же эхтимал довлат* по имени Махмат-бек, который выселил из центра города Исфахана армян, а нынче хотел выселить и евреев, снарядил воинов и послал их против племени евреев, кои и есть племя иудеев, мол: «Вы, все евреи, должны переехать отсюда, из центра города, переселиться за черту города и обосноваться где-нибудь на окраине города, потому что вы, мол, не верите в Магомета, вы нечистое племя, выходите из нашего города, ибо таково повеление государя относительно вас».

Евреи били ему челом, говоря: «Раз таково повеление государя относительно нас, а мы высоко чтим государев приказ и беспрекословно исполним его, однако просим у вас снисхожденья на три дня, чтобы с сыновьями и дочерьми, со всем имуществом и добром своим собраться и уйти, тем паче вы видите, что день клонится к вечеру, а [среди нас] множество больных и немощных, стариков и малых детей, кои не могут сейчас, на ночь глядя, идти, поэтому просим вас о снисхождении на

---

* Эхтимал-довлат (*араб.-перс.* итимад ад-даула) - букв.: «доверие государства». Первый везир, министр двора, ведавший всеми административными делами страны; играл также роль министра иностранных дел.

три дня».
А пришедшие воины не разрешили и не сделали снисхождения, чтобы они остались до завтрашнего дня, а потребовали, не мешкая, быстро выбраться в тот же вечер, ибо таков был приказ эхтимал довлата: без снисхождения и послабления, [не дожидаясь утра] следующего дня, в тот же вечер и в ту же ночь, выгнать всех их с семьям а если кто останется до следующего дня, таких подвергнуть палочным ударам, заключению и пыткам за то, что они не подчинились приказу эхтимал-довлата и не ушли.

Эхтимал-довлат так поступил с евреями, дабы евреи отказались бы от своей субботы, которой они понапрасну придерживаются, и преступили ее.

Воины эхтимал-довлата, пришедшие выселять евреев, мучая и нанося удары и раны мечами и дубиными, насильно выгнали всех евреев с их насиженных мест, скарб и утварь их разбросали и очаги разрушили. А евреи, подняв крик и плач, громко вопя и сетуя, взяв каждый за руки сыновей и дочерей своих, взвалив на спину на спину постель и одежду, вышли из своих жилищ ночью, в необычное время, и кружили по дворам магометан, по площадям и улицам. И не было никого, кто пожалел бы их.

Затем евреи, выйдя из города, отправились в Джугу и Гаврапат, но и там не нашли они приюта, поскольку [туда] пришли какие-то воины якобы посланные эхтимал-довлатом, и приказали джугинцам и гаврапатцам не давать им приюта, поэтому те не дали. И все племя еврейское осталось без крова. И снизошло на них несчастье и горе великое, ибо то было холодной осенью, к началу зимы, холод чрезвычайно досаждал и томил их, ведь жили они под открытым небом, без крова.

Среди них было много несчастных мужчин и женщин, были престарелые и дряхлые, истощенные и немощные, а иные вовсе больны и хворы, с чахлым телом и не были в силах передвигатьтся. И было множество молодых матерей с грудными младенцами на руках и беременных женщин с отяжелевшими ногами, молодых девушек и юношей пригожих, которым похотливые, мерзкие, развратные мужчины песьей породы из персов говорили гадкие и скверные слова, вызывая тем самым у них страдание и [illegible] И другие

магометане, общавшиеся с ними, ругали их, выказывали свое презрение, гнушались ими, били и причиняли этим несчастным множество страданий.

Увидев, что добровольно их нельзя обратить в мусульманство, эхтимал-довлат задумал обратить их в мусульманство насильственно. С этой целью он приказал жителям-магометанам, и особенно военным, хватать всех евреев, где бы они ни были, и тащить ко двору эхтимал-довлата. И каждый магометанин, где бы ни встречал еврея, схватив, тащил его к стопам эхтимал-довлата, а тот сначала кротко толковал с ним и говорил: «Ступайте вы, люди, отрекитесь от ложной веры вашей, признайте создателя и господа бога земли и неба и станьте нашими братьями».

А евреи отвечали: «Господа и бога земли и неба признаем и поклоняемся ему, но быть братьями вашими не желаем и от веры нашей не отречемся, ибо вера наша праведна и дарована нам богом, ведь бог дал ее нам через посредство пророка Моисея, это ты сам знаешь».

Эхтимал-довлат сказал: «Если обратитесь в нашу веру, будете нашими братьями любимыми, более того, множество сокровищ, даров и почестей дадим вам».

На эти слова один из евреев, которого звали Иосифом, ответил: «Когда приходят к нам земледельцы страны нашей покупать нечистоты человеческие для садов, мы прежде всего берем деньги за нечистоты, а затем отдаем нечистоты им, а вы бросаете нам религию вашу, положив на нее сокровища и дары». Так сказал муж по [имени Иосиф], дабы эхтимал-довлат, разгневавшись на него за эти слова, убил его. Точно также говорили и остальные евреи: «Убей всех нас, ибо лучше всем нам умереть, нежели принять вашу веру».

И эхтимал-довлат сказал: «Я знаю, вы говорите эти возмутительные слова, чтобы я, разгневавшись на вас, убил вас, но так и знайте: никого из вас я не убью, зато так долго буду мучить вас изысканнейшими и долгими пытками, пока вы, окончательно отчаявшись, не обратитесь в нашу религию».

Мужчины-евреи с общего согласия обратились с мольбой к эхтимал-довлату, прося предоставить им место для поселения, и сказали: «Как армянам, которых вы выселили из центра города, вы

позволили поселиться в другом месте, так и нам выделите место, чтобы мы поселились и жили где-нибудь на окраине города; там мы постепенно отстроим каждый для себя жилище, уйдем из города, соберемся вместе и будем жить».

Эхтимал-довлат с согласия других власть имущих персов указал им какое-то место далеко за городом, называемое Гозалдара, близ Мусалас-Имама; место здесь было неудобное и неплодородное: во-первых, оно было расположено далеко от города, и, во-вторых, здесь не было воды, а когда проводили воду из далеких мест, вода не шла, не доходила из-за дальности расстояния; когда же на месте рыли колодец, вода не била, ибо место было гористое и каменное. Указали столь неудобное место, дабы и тут евреи оказались бы в безвыходном и неопределенном положении, чтобы не смогли бы перебраться туда, а остались бы под открытым небом.

Затем эхтмал-довлат задумал постепенно мучить евреев. Исстари, с незапамятных времен, где-то на окраине города, вдали от строений и жилищ было место, обнесенное высокой оградой с воротами в ней; но внутри, за оградой, не было ничего: ни жилищ, ни домов—одна лишь голая ограда вокруг.

Эхтимал-довлат приказал своим воинам приставить к каждым двум евреям одного воина в качестве мучителя , схватив всех оказавшихся там евреев, связав, повести и загнать их в ту ограду. Землю же там залить водой и всех [евреев], скрутив им руки за спину, сняв исподнее и подняв подол одежды, посадить на землю. А было это в холодную зимнюю пору, так что земля намокла от пролитой воды, более того, она покрылась льдом, и несчастные евреи сидели на оледенелой земле, а персидские воины, стоя над ними, били их. Три дня и три ночи оставались евреи там, голодные, с пустыми желудками, ибо никто не дал им ничего поесть, а родичи их, придя [туда], стояли по ту сторону ограды и бросали за ограду принесенный [с собой] хлеб, чтобы было чем прокормиться; но и это воины отнимали и сами ели, не давали евреям. Поэтому они оставались голодными три дня, пока эхтимал-довлат не приказал вывести их оттуда, привести в город и бросить в темницу.

Эхтимал-довлат спросил предводителя и главу своей веры, которого они называют садром*, относительно евреев, мол: «Как мы ни

* С а д р *(араб.)* - высший мусульманский религиозный предводитель, глава высшего религиозного присутствия.

стараемся, добровольно они не хотят принимать веру нашу, можно насильственно обратить их или нет?» Садр ответил: «Наша религия не предписывает насильственного обращения кого-либо в [магометанство]». Вторично эхтимал-довлат спросил: «Так что же мы будем делать?» - И садр сказал: «Это не моя забота, делай как знаешь».

Снова эхтимал-довлат призвал к себе евреев, посоветовал им покориться и принять веру Магометову, поскольку, мол, тому, кто примет веру нашу, подарим два тумана и он будет избавлен от мучений и спокойно будет сидеть у себя дома; а тому, кто раньше обратится в нашу веру, дадим должность и власть.

Были среди евреев люди, недостаточно твердые в вере своей, совратившиеся на неправедную [стезю] воровства, распутства и подобных злодеяний и в помыслах своих склонные принять веру Магомета. Увидев все, пережитое евреями, а также услыхав увещания эхтимал-довлата, один из этих не очень верующих людей, по имени Аватия, сам уже вовсе неверующий и нечестивый, пришел раньше всех, предстал перед эхтимал-довлатом и согласился отречься от иудейства и исповедовать мусульманскую веру. Речь его очень обрадовала и осчастливила эхтимал-довлата, и он, почтив суетной милостью, превознес и обласкал его, объявил его своим названным братом и всю одежду, что на нем была, сняв, надел на него, вплоть до того, что кольца, сняв с пальцев своих, надел ему на пальцы. И еще подарил ему множество вещей, тем самым накрепко привязав его к себе.

Вероотступник Аватьия стал советчиком персидских властителей, он сказал: «Мужчин-евреев не держите по нескольку человек вместе и не приводите на суд по пять или по четыре, ибо они, подбадривая друг друга, укрепляют дух свой; приводите их по два или по три и обращайте [в магометанство] насильственно, ведь по доброй воле они не обратятся в [вашу веру]». И еще: «Сперва схватите священника их, которого называют хахамом*, и потрудитесь над ним как следует—посулите подарки, угрожайте пытками, может быть, он обратится, ибо, если он обратится [в мусульманство], обратятся и все остальные». Этот нечестивец и вероотступник Аватия научил их множеству уловок, подобных этим. По его наущению персы, не мешкая, стали искать и нашли хахама, которого звали Саид, и, приведя его, представили эхтимал-довлату, и тот сказал: «Послушайся меня и исполни волю

государя—прими нашу, магометанскую веру, и [тогда]получишь от меня множество подарков и благ». Но хахам не согласился, отказался. И долго говорили вельможи с хахамом, но не склонили его; он попросил разрешения вернуться к себе домой, и вельможи позволили ему уйти. Но и здесь вероотступник Аватия внушил вельможам [мысль] не отпускать его домой, а держать при себе. И вельможи так и сделали. На следующий день снова привели его в присутственное место и в тех же словах приказали ему обратиться в магометанскую веру, а хахам и на этот раз не согласился. На третий день дело кончилось тем же. А на четвертый день после долгих разговоров с хахамом вынесли такое решение: если он не обратится в магометанскую веру, распороть ему живот и, взвалив на верблюда, возить его по городу, а имущество и семью [его] разграбить. Вынесли решение и тут же привели верблюда, усадили [хахама] на него; явились палачи, оголили живот и, вынув мечи свои, требовали, чтобы хахам отрекся [от иудейства], иначе они угрожали распороть ему живот. И хахам, боясь смерти, а также жалея семью свою, отступился: его вынудили принять их исповедание, они обратили [его] в свою, магометанскую религию и возрадовались этому несказанной радостью.

Обратив хахама в свою религию, они стали приводить мужчин-евреев по одному или по двое в присутственное место и говорили им: «Что вы еще можете сказать? Ведь вот и хахам ваш перешел в нашу веру, почему же вы все еще упорствуете и сопротивляетесь?».

Но евреи не поддавались уговорам. Поэтому вельможи приказали воинам увести евреев в темницу, и тотчас же привести их снова; так их по многу раз уводили и приводили. Когда их водили туда и обратно, присутствовавшие там воины рабы и слуги вельмож плевали, ругали, наносили удары и пощечины, валили их на землю и волоком тащили и, приведя, ставили перед вельможами, эхтимал-довлатом и насильно заставляли принять их веру Магометову. А евреи от страха перед муками вопреки желанию своему принимали [магометанское исповедание]. После принятия [магометанства] персы приносили новую капу* и облачали в нее обращенных, дарили каждому из них по два тумана денег из государевой казны и позволяли им вернуться восвояси. А тех,

* Хахам (*тур.*) - раввин, священник у восточных евреев.

кто не отрекся [от своей веры], возвращали в темницу и [там] оставляли, затем приводили во второй, третий и много раз еще, ставили перед [эхтимал-довлатом] и заставляли отречься. И таким образом всех задержанных мужчин обратили в веру лжеучителя Магомета: в течение месяца обратили в веру Магомета 350 человек.

После этого евреи выглядели еще более слабымии перед персами, ибо половина их перешла в веру персов. А персы еще больше усилились над евреями и больше не давали им жить, хватали их, приводили изо дня в день к эхтимал-довлату и насильственно вынуждали их обратиться в Магометову веру.

И так долго персы преследовали евреев и насильничали над ними, чтобы совратить их, и не уступали ни в чем, даже в самом малом, пока не обратили в магометанство все еврейское население, проживающее в городе Исфахане (евреев, проживающих в Исфахане было мало—около трехсот домов, но не более того).

Покончив с ними, [персы] приставили к ним магометанского моллу, чтобы он обучал их вере Магомета, постоянно водил в персидсую молельню молиться по-персидски, детей их обучал магометанской грамотности и исповеданию. И еще распорядились, чтобы евреи дочерей своих выдавали за магометан и сами брали [магометанских] девушек, а также чтобы не приносили жертву животных, как прежде это делали, а покупали бы мясо на торжище у мясников-магометан.

И много подобных порядков установили персы среди евреев.

После этого приставленный к ним молла всегда собирал их, и они вместе отправлялись в мечеть. И евреи, чтобы угодить персам, молились несколько дней; из-за того же, что они приняли исповедание Магомета не от всей души, они ходили [в мечеть] несколько дней, а затем, отступая понемногу, [вовсе] оставили это. А когда приставленный к ним молла спрашивал евреев: «Почему не приходите в молельню?»—евреи отговаривались той или иной причиной. Молла предостерегал их, но они не внимали ему. Тогда молла явился к сановникам-магометанам и донес на них, мол, [евреи] не обращаются в нашу веру. Евреи тоже донесли на моллу, мол, он хочет получить с нас взятку, поэтому так мучает нас, а мы не даем, потому он клевещет на нас. И так много небылиц и козней приписали евреи персам, что персам-вельможам и молле надоело [все это] и они отстали от них.

* Капа (*араб. - перс.*) - верхняя длиннополая одежда.

Всем персам стало ясно, что евреи не желают принять Магометову веру.

Были также евреи, не ходившие в персидскую мечеть и даже не приближавшиеся к ней, они не покупали мясо на торжище и только у себя дома закалывали овец или же жили много дней подряд без мяса. Случалось, что изредка, боясь доносчиков и персов, евреи шли на торжище и покупали у мясников-персов мясо закланных [овец] и на глазах у всех, смело и открыто приносили к себе домой, якобы чтобы самим есть, но на самом деле они не ели [это мясо], а потихоньку выбрасывали его псам. И много таких дел быо совершено евреями, и это ясно доказывало, что евреи не желают отказаться от иудейской веры.

Но нечестивец и вероотступник Аватия и вместе с ним его коварные товарищи-споспешники, отрекшиеся [от своей веры], были рады своей вновь обретенной вере, религии Магомета, и тверды в ней. Поэтому, вращаясь среди евреев, наблюдали, осведомлялись и доискивались, кто по доброй воле своей склонился к религии Магомета, а кто нет и все еще тайно поклоняется иудейской вере. В связи с этим они причиняли много неприятностей евреям—как существенных, так и несущественных: хватали евреев, притесняли, ругали, оскорбляли их, спрашивали: «Почему ты не ходишь в мечеть молиться, а ходишь в молельню еврейскую?» А иным [говорили], мол: «Сына своего посылаешь на обучение к хахаму, а не к молле». Кое-кому они говорили: «Мясо не покупаешь на торжище, а в доме своем закалываешь». И много подобных дел творили с евреями вероотступники из их же среды. Евреям, боявшимся персов, еле-еле уалось спастись из их (вероотступников) рук [ценою] многократных просьб и взяток.

Более того, эти вероотступники были причиной того, что персы взяли себе в жены дочерей трех евреев, ибо они упоминали при персах об этих девушках, очень хвалили [их] и подстрекли персов взять этих девушек в жены; более того, сами из мстительных чувств заставили родителей этих девушек отдать их персам в жены. Евреи не хотели [выдать их за персов], и родители девушек прибегали ко всяким хитростям, давали взятки, чтобы избавить девушек, но не смогли [ничего сделать], и персы женились на [этих] девушках.

Евреи, глубоко уязвленные поступками вероотступников, были в большом горе, исполнились гнева и ярости. Они твердо решили про себя убить отступников, а прежде всего Аватию, ибо он был самым опасным.

Был среди евреев человек—отчаянный мститель за веру иудейскую,—которого звали Финхасом. Он, будучи ревнителем веры отцов своих, страстно желал в душе убить Аватию, с умом задумал и нашел еще трех человек из евреев—сообщников и товарищей себе в деле убийства нечестивца Аватии. Имя одного из них [было] Исаак, второго—Масих и третьего—Иуда. Эти четверо сговорились и твердо условились меж собой при [первом же] удобном случае убить Аватию.

И благодаря попечению божьему случилось однажды такое дело: Аватия, по обыкновению своему, ходил по домам евреев, чтобы проведать и проследить за ними; встретил он священника еврейского, которого называют хахамом, и сказал ему, угрожая: «Это ты не даешь евреям обратиться в мусульманство, обходишь их дома, поучая, увещеваешь их остаться верными иудейству, а также совершаешь в домах их заклание животных?» И хотя *хахам* отпирался, всячески доказывал и клялся, [что он не причастен к этому], чтобы избавиться от него, ему это не удалось. Аватия сказал: «Если ты говоришь правду и не совершаешь заклания животных, то почему ты держишь при себе меч для жертвоприношения. Так принеси и отдай его мне». А меч для жертвоприношения, требуемый Аватией, таков: это не простой меч, который есть у каждого, а совсем другой—большой, длинный и чрезвычайно острый, так что с одного раза, как только дотронешься до шеи овцы, отсекает голову, в крайнем случае—со второго раза, но не более, ибо если повторить трижды, то жертва считается не принятой. Меч этот изготавливается специально для жертвоприношения, и держит его при себе для приношения жертвы священник, и никто кроме него. Поэтому Аватия сказал священнику, мол, дай мне меч для жертвоприношения. И хахам, не в силах отвязаться от него, отдал ему меч для жертвоприношения. Взяв меч, Аватия заткнул [его] за пояс и, оставив хахама, пошел по улице, на которой был дом Финхаса, и дошел до ворот его дома. Случилось так, что в это же время Финхас выходил из своего дома и тут же встретился с Аватией; оба они стали здороваться друг с другом и справляться о здоровье друг друга. Финхас

из коварства и хитрости притворился другом и благожелателем [Аватии], сердечно и благосклонно настоятельно приглашал его к себе домой, якобы чтобы угостить. И Аватия пошел к Финхасу домой. Пришли туда и трое товарищей и сообщника Финхаса: Исаак, Масих и Иуда. Выдвинули стол, принесли яства и вино, и, так как время было весеннее, и на столе были огурцы, Финхас попросил у матери нож, чтобы очистить огурец. Мать его, зная что [сын] просит нож, чтобы убить Аватию, не дала, отговорившись тем, что в доме нет ножа. А Финхас дважды и трижды повторил матери свою просьбу, но она не дала.

Тогда Аватия, достав меч, отнятый им у священика и бывший при нем, протянул Финаху. «Вот нож—[сказал он],—возьми и им очисти [огурцы]». Финхас, взяв в руки меч, тотчас же поднялся, схватил Аватию левой рукой за бороду и сказал: «Это ты отрекся от богом данной веры моисеевой и еще вынуждаешь сыновей Израиля делать то же самое!» И хотя Аватия громко вопил, Финхас не внял его [мольбам] и в тот же миг тем мечом отсек голову Аватии и отбросил его прочь при помощи трех своих товарищей.

После того, как нечестивец Аватия околел, четверо мужей решили сделать так, чтобы бесследно исчез нечестивый труп его. И хотя они долго говорили на разные лады, но единодушия между ними не было, а с согласия четверых сделали так: с наступлением ночи, в полночь, взвалив на себя труп нечестивца Аватии, понесли его подальше от своих домов и бросили где-то посреди улицы, а сами исчезли.

Мы спрашивали многих евреев, почему, мол, вы поступили так необдуманно и нелепо: вместо того, чтобы после убийства [труп] уничтожить тайно где-либо, вы взяли и открыто бросили его посреди улицы И все объясняли нам так: есть у евреев обычай—когда умирает мужчина, необходимо, чтобы жена его была очевидицей смерти мужа. А если муж умер в дальней стране, необходимо, чтобы кто-либо из очевидцев, приехав, удостоверил бы смерть мужа ее или чтобы прибыла достоверная весть либо письмо, удостоверяющее [смерть] и сообщающее о смерти мужа; тогда закон разрешает женщине сочетаться браком с другим мужчиной; в противном случае женщина эта не может выйти замуж, а должна сидеть, вдовая и беспомощная, горемычная и страждущая, до самого дня смерти своей. И четверо этих евреев из жалости

к жене Аватии бросили труп его на улице, дабы жена его, увидев, получила бы право выйти замуж за другого.

Натуро после ночи, когда был выброшен на улицу труп нечестивца Аватии, с рассветом, около трупа собралось множество народа, и опознали его; известили евреев и сородичей убиенного, которые собрались над ним и возмущенно, с громкими криками требовали выяснить, кто сделал это. Мать и жена Аватии тут же пошли ко двору эхтимал-довлата с плачем и стенаниями, рыдая, сообщили ему: «Брата твоего, Аватию, убили». Они явились также к государеву диван-беку*, ему тоже сказали. Эхтимал-довлат и диван-бек тотчас же приказали множеству воинов отправиться в еврейский квартал, в дома, на улицы, на торжища, и, где только ни встретят мужчин-евреев, всех, схватив и связав, привести перед очи диван-бека, и воины сейчас же исполнили [приказ]. А труп Аватии по приказу власть имущих убрали оттуда, принесли и бросили посреди большого городского майдана**.

Затем стали приводить в присутственное место мужчин-евреев по трое, по четверо и спрашивали, мол, кто убийца? Евреи все в один голос отвечали: не знаем. И хотя многих уже спросили, открыть тайну не смогли.

А открыли ее таким образом: там жил один человек из евреев, по имени Сасун, и было у него много имущества и доходов. Сасун этот был братом матери вероотступника и [дядей] убитого Аватии, но сам он не отрекся [от веры своей]. Покуда Аватия был жив и [уже] отрекся [от иудейства], он непрестанно хвастался перед дядей своим Сасуном, мол, так как я омусульманился, все твое имущество и доходы перейдут ко мне: я отберу их у тебя по закону и суду персидскому. И Сасун, слыша от него такие слова, очень боялся, всегда поставлял ему яства и питье и якобы дарил драгоценные вещи и серебро, [а на деле] давал взятку, ублажал волю его, чтобы тот на деле не сделал то, о чем говорил на словах. И так проходили дни его. И вот в дни и часы, когда искали и не могли найти убийцу Аватии, в связи с этим заподозрили и схватили Сасуна, вокруг него собралась толпа мужчин, которые говорили:«Это ты убил Аватию, чтобы он не отнял твое добро». И хотя

---

* Диван - бек (*араб. - тур.* диван - беги) - верховный судья.

** Майдан (*араб.*) - поле, равнина, площадь; здесь - центральная площадь.

Сасун долго убеждал, доказывал и клялся, но так и не смог их убедить. И, попав таким образом в безвыходное положение, начал сам Сасун и друзья его неотступно искать [убийцу] среди евреев, распрашивать встречных. И во время этих поисков Сасун встретил одного из товарищей Финхаса и со скорбной мольбой обратился к нему, клялся и божился, что никому не скажет, лишь бы нашлась для него возможность спастись, «ибо, —говорил он,—если схватят меня, с меня возьмут большой штраф и много добра, поскольку я прослыл богатым, а с тебя возьмут умеренный штраф, и все, что с тебя возьмут в качестве штрафа, я выплачу тебе, об одном прошу тебя: открой мне обстоятельства дела». Долго и убедительно просил и умолял Сасун, и тогда тот человек смягчился и рассказал Сасуну об убийстве нечестивца Аватии. И Сасун, чтобы спасти себя, рассказал все это персам. Персы тотчас же схватили трех товарищей Финхаса, убивших вмете с Финхасом Аватию, но самого Финхаса, как ни старались, найти не смогли, ибо еще в ту ночь, когда труп Аватии был выброшен на улицу, [рано] утром, на рассвете Финхас вышел из города и бежал—уехал в дальние страны, чтобы больше не вернуться. Поэтому и не нашли его.

Затем сел диван-бек в суде, и привели перед очи его трех убийц Аватии. Он стал спрашивать их об убийстве, и они признались в содеянном. Поэтому диван-бек вынес решение: приказал отвести этих трех убийц на большой майдан и там возле трупа Аватии убить всех троих и бросить около него. Так и было сделано.

В то время когда диван-бек пришел и сел, чтобы судить убийц, а вместе с ним и всех находившихся в заключении у персов мужчин еврейского происхождения, всем им завязали руки за спиной и персидские ратники охраняли их. Собрались там палачи и ратники, воины и военачальники персидские, а также почти все население персидское; и напоминали они не стаю птиц-скворцов, а капли дождевые и песчинки в пустыне, не поддающиеся счету,—собрались они у дверей суда, и не хватало места для всех собравшихся. Когда диван-бек приказал отвести трех мужей и убить, толпа персов-магометан, палачи и ратники, благородные и простолюдины подступили к евреям, наносили им удары, били по голове мечами, дубинами, рукоятками сабель и ружейными прикладами, бросали их на землю, волочили по земле, топили их в воде, поднимали и опять били. И скольким мучениям

подвергли бедных евреев, что я не в состояниии перечислить. А трех мужей—убийц Аватии—повели на большой майдан и убили близ трупа нечестивца Аватии. После убийства [этих] трех мужей персам самим надоело все, что они сделали, и остальных евреев они бросили и ушли. Трупы же убитых дня три оставались там, посреди майдана, и лишь спустя три дня по приказу персидских правителей их убрали оттуда, увезли и похоронили.

После этого персы уже ничего не говорили и не делали с евреями: не требовали с них никаких казенных податей и никаких иных государевых повинностей, почитали их за персов, за принявших религию Магомета, поэтому оставили жить, как им хотелось. Хотя персы и знали, что евреи не приняли веры Магометовой, но временно оставили все, как было.

Евреи же на собраниях своих, в своей среде поклонялись и исповедовали иудейскую религию, а не магометанскую. Они говорили: «Мы ежегодно откладываем причитающиеся с нас казенные подати, кладем их из года в год в шкатулку и храним, чтобы, как только потребуют, тут же дать и избавиться». И еще говорили: «Те два тумана, которые подарили нам в день вероотступничества, мы тоже сохранили и постоянно добавляем к ним ежегодные проценты, чтобы, когда потребуют, дать им и избавиться». До нынешнего года, когда излагаем эту историю, а это 1109 год нашего летоисчисления (1660), 10-й день марта месяца, персы и евреи так и живут, как я рассказал, а грядущее известно лишь [богу].

* * *

Следует также знать, что когда все евреи города Исфахана волей или неволей обратились в веру Магомета, после этого эхтимал-до*влат* взял у государя грамоту и послал ее во все области Персидского государства и властителям земель, с тем, чтобы евреи, где бы они ни жили, в деревнях или городах, все оставили бы иудейскую веру и приняли веру Магомета. Кто добровольно подчинится [приказу], хорошо, а кто воспротивится, таковых власть имущие должны насильственно и с пытками обратить в веру нечестивца пустыни. И как только доходил приказ государев до места, быстро, подобно пламени, охватив-

шему тростник, созывали всех евреев и понуждали их исполнить повеление царя. Но евреи, где бы они ни жили, не желали принять веру Магомета, они отделывались [от этого] кто при помощи взяток, кто бегством, а кто иным способом. Те же, кто был в безвыходном положении, волей-неволей, притворно, видимости ради принимали веру Магометову, и хотя при персах и притворялись магометанами, но не были ими и тайно все оставались в иудейской вере.

Из евреев, живших в персидских городах, следующие, попав в безвыходное положение, поневоли, видимости ради приняли веру персов: жители Кашана, Хума, Тавриза, Ардебиля, Казбина, Лара, Шираза, Бандарикума. А не принял религии персов при помощи ли взяток, бегства или же открытого сопротивления [уроженцы] Гюльпекана, Хунсара, Бандара, Шуштара, Хамадана, Иезда, Кермана, Хорасана, Думаванда, Астарабада, области Гилянской, селений Фахрабада.

Евреи, проживавшие в городе Фахрабаде, выступили открыто, воспротивились приказам государевым и не приняли магометанства. Приставленный же к ним вельможа, которого звали Мирза Садых, как только услышал, что евреи города Исфахана обратились в магометанство, взялся также за евреев, проживающих в городе Фахрабаде, и начал насильственно обращать их в мусульманство. Сделал это вельможа еще до того, как поступил к ним государев приказ, а евреи, огорченные его притеснениями, сказали в лицо властителю: «Не приказывал тебе царь подобных вещей, так почему же ты мучаешь нас?» От этих речей властитель несколько приуменьшил притеснения, но, затаив в душе сильную злобу, дождался, пока прибыла государева грамота; тогда этот властитель призвал евреев и сказал: «Ну, что вы можете сказать? Вот она, грамота с приказом царя. Так вот, идите выполняйте приказ царя—примите веру Магомета». А евреи, открыто и смело воспротивившись, сказали: «Не примем веры Магомета и не оставим веры отцов наших, а ты делай с нами что хочешь».

Властитель долго подвергал их мучениям: несколько раз они были вздернуты на виселицу, их били батогами, пока они не стали бездыханными, много раз топили их в воде и, вынув [оттуда], снова били батогами; к ним домой были посланы воины разграбить их имущество и обесчестить жен, и те с большим рвением и наглостью делали это с женами, сыновьями и дочерьми евреев. Евреи же эти были богаты и

имели [большие] доходы, многие из них владели лавками, то есть духанами, на торжище и торговали в них драгоценными кумашами* и серебряной посудой, поэтому властитель приказал магометанам разграбить все добро в еврейских лавках, и они сейчас же были разграблены. А добра в лавках тех было не то чтобы достаточно, а много.

Было взято под стражу более ста мужчин-евреев, всем на шею надели тяжелые и длинные железные цепи, и все они один за другим были скованы той цепью в ряд, и цепь была одна. Их без конца приводили во дворец властителя на суд и уводили в тюрьму, где держали в заключении. Длилось это три или четыре месяца. Властителю самому надоели все те пытки, которым он подвергал [евреев]. Тогда он приказал им, раз они не желают отречься от иудейства, надеть на себя какой-либо четкий знак, по которому все, кто увидит их, мог бы узнать, что они—евреи. Приказ это был охотно принят евреями. А властитель, издеваясь над ними, приказал нанизать на шнур медные колокольчики, куски железа и меди, ручки от ковшиков и кружек, из которых пьют воду, и повесить все это на шею мужчинам-евреям, [чтобы] евреи ходили по улицам и площадям, по торжищам и повсюду с таким знаком. А еврей, у которого не будет знака, будет подвергнут наказанию, заключению и штрафу. И все евреи пошли на это: повесили себе на шею то, что велел властитель, и так ходили повсюду.

Евреи перенесли также много других притеснений и пыток, вплоть до того, что самим мучителям их, персам, надоело притеснять их и они оставили их в покое, перестали мучить. Таким образом, они избавились и все еще остаются [верными] родной вере иудейской, а будущее известно богу, которому вечная слава, аминь.

Глава 34-я из книги армянского историка Аракела ДАВРИЖЕЦИ «Книга историй». Пер. с армянского, предисловие и комментарии Лены Ханларян. Л. «Наука». 1972. стр. 356-372.

---

* К у м а ш (*араб.*) - ткань.

Фернан БРОДЕЛЬ (Париж)

ТОРГОВЫЕ ПУТИ АРМЯН И ЕВРЕЕВ

У нас много сведений об армянских и еврейских купцах. Однако их недостаточно для того, чтобы с легкостью привести эту массу деталей и монографических описаний к общей характеристике.

Армянские купцы усеяли своими колониями все пространство Ирана. К тому же именно из Джульфы, обширного и оживленного предместья Исфахана, где их разместил шах Аббас Великий, они распространились по свету. Очень рано армяне прошли всю Индию, особенно (если мы не преувеличиваем значение некоторых сообщений) от Инда до Ганга и до Бенгальского залива. Но были они и на юге, в португальском Гоа, где около 1750 г. они, как и французские или испанские купцы, делали заем у монастыря св.Розы—обители монахинь ордена св.Клары.

Армянские купцы, которые тоже заполняли суда, ходившие с муссонами, и во множестве разъезжали между Ираном и Индией, зачастую бывали купцами-приказчиками крупных исфаханских негоциантов, ведущих дела разом в Турции, России, в Европе и в Индийском океане. Условия договора в этом случае были другие. Купец-приказчик со всех сделок, в которых он станет оперировать доверенным ему при отъезде капиталом (в деньгах и товарах), будет получать четвертую часть прибыли, а все остальное пойдет его патрону, *ходже*. Но за этой простой внешностью скрывалась сложная действительность, которую примечательным образом освещают счетная книга и дорожные записи одного такого приказчика, хранящиеся в Национальной библиотеке в Лиссабоне; их сокращенный перевод был опубликован в 1967 г. К сожалению, текст неполон, окончательный итог операции, который дал бы нам точное представление о прибылях, отсутствует. Но и такой, каков он есть,—это исключительный документ.

По правде говоря, в путешествии армянского приказчика Ованеса, сына Давида, исключительным нам представляется все:

—его протяженность: мы следуем за Ованесом тысячи километров, от Джульфы, армянского предместья Исфахана, до Сурата, затем в Лхасу, в Тибете, с целым рядом остановок и отклонений, прежде чем возвратиться в Сурат;

—его продолжительность—с 1682 по 1693 г., т.е. более 11 лет, из которых пять безвыездно в Лхасе;

—самый характер его путешествия, в общем обычный, [даже] банальный: контракт, который связывал Ованеса с его ходжами,—это типовой договор,который еще в 1765 г., почти веком позже, излагался в Кодексе астраханских армян;

—тот факт, что повсюду, где путешественник останавливался—конечно же, в Ширазе, Сурате, Агре, но также и в Патне, и в сердце Непала, в Катманду, наконец, в Лхасе,—его принимали, ему помогали другие армянские купцы, он торговал с ними, бывал компаньоном в их делах;

—необычно также перечисление товаров, которыми Ованес торговал: серебро, золото, драгоценные камни, мускус, индиго и прочие красители, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, свечи, чай и т.д.—и размах операций: один раз—две тонны индиго, отправленные с севера до Сурата и переправленные в Шираз; другой—сотня килограммов серебра; третий раз—пять килограммов золота, полученных в Лхасе от армянских купцов, добравшихся до Синина на далекой границе с Китаем, чтобы обменять там серебро на золото (одна из самых прибыльных операций, ибо в Китае серебро оплачивалось дороже, нежели в Европе: соотношение 1 к 7, которое указывает записная кнжка Ованеса, означало отличную прибыль).

Еще более интересно то, что эти дела он вел не с одним только капиталом, доверенным ему ходжей, хотя Ованес оставался связан с последним и все свои операции, каковы бы они ни были, заносил в свою счетную книгу. Он был связан *личными соглашениялми* с другими армянами, использовал собственный капитал (быть может, свою долю прибылей?) плюс к тому занимал деньги и даже при случае ссужал ими. Он беспрестанно обращал наличные деньги в товар и векселя, которые переносили его достояние как бы по воздуху; когда по пониженным тарифам—если дело шло о коротких расстояниях и о товарах, более или менее связанных с его делами,—0,75% месячных; когда по очень высоким, если дело касалось больших расстояний и обратного вывоза средств: скажем от 20 до 25% за возврат из Сурата в Исфахан.

Ясность примера, его ценность как образчика, подчеркиваемая точными деталями, порождает неожиданное представление о возможностях торговли и кредита в Индии, об очень своеобразных сетях локальных обменов, в которые Ованес, преданный приказчик, верный слуга и ловкий купец, интегрировался с легкостью, торгуя товарами ценными или обычными, легкими или тяжеловесными. Он, конечно, странствовал, но что в нем есть от торговца вразнос? Если уж непременно нужно сравнение, то мне он скорее напоминает английского торговца новой формации, торговца *частного рынка (private market)* пребывающего в непрерывном движении, перемещающегося от одного постоялого двора к другому, заключающего тут одну сделку, там—другую в зависимости от цен и случая, выступающего в компании с тем или иным собратом и невозмутимо идущего своей дорогой. Вот этот-то торговец, которого всегда изображают новатором, освободившимся от старинных правил средневекового английского рынка, и являет для меня образ наиболее близкий к тем деловым людям, которых встречаешь в путевых записках Ованеса. С той разницей, что Англия не имеет размеров Ирана, Северной Индии, Непала или Тибета вместе взятых. Благодаря этому примеру можно также лучше понять роль тех купцов из Индии—эти-то определенно не были мелочными торговцами, *pedlars*,—которых обнаруживаешь в XVI-XVIII вв. обосновавшимися в Иране, в Стамбуле, Астрахани или в Москве. Или же тот порыв, что с конца XVI в. приводил восточных купцов в Венецию, Анкону и даже Пезаро, а в следующем веке—в Лейпциг и Амстердам. Речь идет не только об армянах: в апреле 1589 г. на борту корабля «Феррера», вышедшего из Маламокко, аванпорта Венеции, находились наряду с итальянскими купцами (венецианцами, ломбардцами и флорентийцами) «армяне, левантинцы, киприоты, кандиоты (жители Крита - *ред*) , марониты, сирийцы, грузины, греки, мавры, персы и турки». Все эти купцы наверняка занимались коммерцией по тому же образцу, что и люди Запада. Их встречаешь в конторах венецианских и анконских нотариусов, как и в галереях амстердамской биржи. И они отнюдь не чувствовали себя не в своей тарелке.

Армянский купец перебрался через Гималаи и достиг Лхасы, оттуда он совершал торговые поездки на расстояние больше 1500 километров, добираясь до самой китайской границы. Но в Китай он почти не проникал; любопытно, что и Китай, и Япония оставались для него закрыты. Но уже очень рано армянские торговцы кишели на испанских Филипинах. Купец-армянин был вездесущ в огромной Турецкой империи, где он проявил себя боеспособным конкурентом

евреев и прочих купцов. Продвигаясь в Европу, армяне объявились в Московской Руси, где им удобно было создавать свои компании и сбывать иранский шелк-сырец, который от обмена к обмену пересекал русскую территорию, добираясь до Архангельска (в 1696 г.) и до соседних с Россией стран. Армяне обосновались на постоянное жительство в Московии, вели по ее бесконечным дорогам транзитную торговлю, добираясь до самой Швеции, куда они со своими товарами попадали и через Амстердам. Они обследовали всю Польшу и более того—Германию, в частности лейпцигские ярмарки. Они были в Нидерландах, они будут в Англии, они будут во Франции. В Италии, начиная с Венеции, армянские купцы вольготно устроились с первых лет XVII в. и участвовали в том настойчивом вторжении восточных купцов, что было столь характерным с конца XVI в. Еще раньше они оказались на Мальте, где документы 1552 и 1553 гг. говорят о «бедных армянских христианах» (*«poveri christiani armeni»*), без сомнения «бедных», но некоторые там пребывали «ради неких своих торговых дел» (*«per alcuni suoi negotii»*). Нужно ли говорить, что не всегда их встречали с радостью. В июле 1623 г. консулы Марселя писали королю, жалуясь на нашествие армян и наплыв кип шелка. То была опасность для коммерции города, так как, утверждали консулы, «нет в мире нации более алчной, нежели сия; люди, имея возможность продать эти шелка в великом городе Алеппо, в Смирне и иных местах и там получить честную прибыль, тем не менее, дабы заработать несколько более оной, приезжают на край света [разумеется, в Марсель] и ведут столь свинский образ жизни, что большую часть времени едят лишь траву [т.е. овощи]». Но армяне отнюдь не были изгнаны, так как четверть века спустя, в январе 1649 г., английский корабль, захваченный возле Мальты эскадрой шевалье Поля, вез из Смирны в Ливорно и Тулон «примерно 400 кип шелка, коего большая часть принадлежала 64 армянам, каковые были на корабле». Армяне находились также в Португалии, в Севилье, в Кадисе—у ворот Америки. В 1601 г. в Кадис прибыл армянин Хорхе да Крус, который утверждал, будто прехал прямо из Гоа.

Коротко говоря, перед нами армяне, встречающиеся по всему миру торговли, почти что повсюду. Именно этот триумф делает очевидным книга о торговле, написанная на армянском языке одним из них, Лукою Ванандеци, и напечатанная в Амстердаме в 1699 г. Написанная для « вас прочих, братия торговцы, кои принадлежите к нашему народу», она была сочиненена по наущению некоего мецената, господина Петроса из Джульфы (последняя подробность никого не

удивит). Книга открывается под знаком евангельских слов «Не сотвори ближнему своему...» Первая ее забота: осведомить купца о весах, мерах, монетах торговых городов. Каких городов? Разумеется, всех городов Запада, но также и городов Венгрии, но также Стамбула, Кракова, Вены, Москвы, Астрахани, Новгорода, Хайдарабада, Манилы, Багдада, Басры, Алеппо, Смирны... Исследование рынков и товаров перечисляет рынки Индии, Цейлона, Явы, Амбона, Макассара, Манилы. В этой массе информации, которая заслуживала бы более пристального анализа и тщательного изучения, самое любопытное—сравнительное исследование стоимости жизни в различных европейских городах или полное пробелов и загадок описание Африки, от Египта до Анголы, Мономотапы и Занзибара. Эта небольшая книжка, образ торгового мира армян, тем не менее не дает нам разгадки их баснословных успехов. Ее торговая техника ограничивается, в самом деле, восхвалением достоинств *тройного правила* (но оказалось ли бы оно достаточным для всего?). Книга не касается пролем бухгалтерии и главное—не открывает нам, что же было торговой, капиталистической основой этого мира. Как замыкались и как перекрещивались его нескончаемые торговые потоки? Были ли они связаны все в огромном промежуточном пункте в Джульфе, и только ли в нем? Или же, как я полагаю, существовали другие промежуточные перевалочные пункты? В Польше, во Львове, служившим связующим звеном между Востоком и Западом, небольшая армянская колония—«персы», как их называли,—со своей юрисдикцией, своими типографиями, своими многочисленными деловыми связями господствовала над огромным потоком гужевых перевозок в направлении Оттоманской империи. Начальники этих караванов повозок, *караван-баши,* всегда были армянами. Не этим ли потоком перевозок связывались в единое целое две гигантские арены—ни больше ни меньше, как Запад и Восток,—которые держали в руках джульфинские купцы? Во Львове армянин подчеркнуто демонстрировал «крикливую и нахальную роскошь»—это ли не убедительная примета!

Торговые сети еврейских торговцев тоже простирались на весь мир. Их успехи были куда более древними, нежели армянские достижения. Со времени римской античности сири (Syri), евреи и неевреи, присутствовали повсеместно. В IX в. н.э. нарбоннские евреи, используя контакты, открытые арабским завоеванием, «достигли Кантона, пройдя Красное море и Персидский залив». Документы каирской Генизы сотни раз показывают нам торговые связи (к выгоде еврейских купцов) Ифрикии, Кайруана с Египтом, Эфиопией и Индостанским полуостро-

вом. В X-XII вв. в Египте (как и в Ираке и в Иране) очень богатые еврейские семейства были вовлечены в торговлю на дальние расстояния, в банковское дело и сбор налогов, иной раз с целых провинций.

Еврейские купцы, таким образом, утверждались на протяжении многих веков, намного превзойдя ту долговечность итальянских купцов, что нас совсем недавно восхищала. Но их история, установив рекорд долголетия, установила также и рекорд чередования взлетов и зловещих стремительных падений. В противоположность армянам, вновь объединившимся вокруг Джульфы, потаенной родины для денег и сердец, народ Израиля жил лишенный корней, пересаженный на чуждую почву, и это было его драмой, но также и плодом упрямого нежелания смешиваться с другими. И все же не следует видеть одни только катастрофы и слишком их связывать друг с другом, катастрофы, которые свирепо прерывали историческую судьбу, одним ударом разбивая уже старинные формы адаптации и совершенно здоровые торговые сети. Были и серьезные успехи—во Франции в XIII в., и успехи триумфальные—в Польше XV в., в различных областях Италии, в средневековой Испании и других местах.

Изгнанные из Испании и Сицилии в 1492 г., а из Неаполя в 1541 г., эмигранты разделились, направившись в двух направлениях: средиземноморские страны ислама и страны, прилегающие к Атлантике. В Турции—в Салониках, Брусе, Стамбуле, Адрианополе—еврейские купцы с XVI в. накопят огромные состояния как негоцианты или откупщики налогов. Португалия, которая будет терпеть евреев у себя после 1492 г., оказалась исходной точкой для рассеяния другой большой группы. Амстердам и Гамбург были излюбленными пунктами, куда устремлялись купцы уже богатые или же такие, которым предстояло быстро разбогатеть. Нет никакого сомнения, что они способствовали расширению голландской торговли в направлении Пиренейского полуострова как в сторону Лиссабона, так и в сторону Севильи, Кадиса и Мадрида, а также в направлении Италии, где издавна сохранялись активные колонии—в Пьемонте, Венеции, Мантуе, Ферраре —и где благодаря еврейским колониям в XVII в. заново заблистает богатство Ливорно. Не приходится сомневаться также и в том, что они были в числе творцов первых крупных колониальных успехов в Америке, в частности в том, что касалось распространения сахарного тростника и торговли сахаром в Бразилии и на Антильских островах. Точно так же в XVII в. они были в Бордо, в Марселе, в Англии, откуда их изгнали в 1290 г. и куда они возвратились при Кромвеле (1654-1656 гг.). Этот *«бум»* средиземноморских евреев-сефардов, рассеявшихся по странам

Атлантики, нашел своего историка в лице Германа Келленбенца. То, что их успех надломился, как только более или менее рано стало ощущаться свертывание производства американского белого металла, ставит любопытный вопрос. Если конъюнктура их одолела (но правда ли это?), то, значит, они не были столь сильны, как то предполагают?

Устранение с переднего плана сефардов открыло для народа Израиля период если не молчания, то по карйней мере относительного отступления. Другой успех евреев будет подготавливаться медленно, и творцами его станут странствующие торговцы Центральной Европы. То будет век ашкенази, евреев родом из Центральной Европы, и первый его расцвет наметится с триумфами «придворных евреев» в княжеской Германии XVIII в. Речь тут идет, несмотря на утверждение некоего агиографического сочинения, о спонтанном натиске отдельных «предпринимателей». В Германии, которая в большинстве утратила свои капиталистические кадры во время кризиса Тридцатилетней войны, создалась пустота, которую в конце XVII в. заполнила еврейская торговля, чей подъем стал видимым довольно рано, например на лейпцигских ярмарках. Но великим веком ашкенази станет век XIX с сенсационным международным успехом Ротшильдов.

С учетом этого добавим, оспаривая Зомбарта, что евреи не выдумали, конечно, капитализм, даже если предположить (во что я верю не больше), что капитализм был изобретен в такой-то день, в таком-то месте, такими и такими-то лицами. Если бы евреи его и выдумали (или изобрели заново), то в компании с множеством других. Не потому еврейские купцы находились в горячих точках капитализма, что они их создали. Еврейский ум сегодня блистает по всему миру. Не станем же мы из-за этого утверждать, что евреи выдумали ядерную физику? В Амстердаме они наверняка *стали* руководителями игры *репортов* и *премий* на акции, но разве не видели мы у истоков этих операций не евреев, таких, как Исаак Ле-Мер?

Что же касается разговоров (как это делает Зомбарт) о капиталистическом духе, который якобы совпадает с главными идеями иудаистской религии, то это означает присоединиться к «протестантскому» объяснению Вебера со столь же удачными, сколь и неудачными аргументами.

Фернан БРОДЕЛЬ. Игры обмена. Пер. с французского Л.Е.Куббеля. т.2. М. «Прогресс». 1988

Милтон ФРИДМЕН (Чикаго)

КАПИТАЛИЗМ И ЕВРЕИ: АНАЛИЗ ПАРАДОКСА

Я поставил перед собой задачу разобраться в своеобразном историко-политическом парадоксе, характеризующем отношение евреев к капитализму. Можно без труда показать, что евреи очень многим обязаны свободному предпринимательству и основанному на конкуренции капитализму. Однако столь же очевидно, что по крайней мере в течение последних ста лет евреи последовательно выступают против капитализма, немало способствуя идеологическому подрыву капиталистической системы... Возможно ли снять противоречие между этими двумя утверждениями?

Мотивы, побудившие меня заняться этой проблемой, имеют вполне объяснимый личный характер. Я уже привык, что нахожусь в меньшинстве в своей профессиональной среде. Мои собратья-интеллектуалы клеймят меня как реакционера и апологета существующей системы, а то и просто считают помешанным. Особым нападкам подвергаются те мои единомышленники, которые, подобно мне, имеют еврейское происхождение. Нас обвиняют не только в инакомыслии, но и в измене якобы существующей национально-культурной традиции.

Помимо личного интереса к поставленной проблеме, я поначалу питал надежду, что исследование взаиомооношений между евреями и капитализмом позволит подойти к анализу более общего противоречия между социальной реальностью и идеологией. Например, в послевоенной Западной Германии евреи не играют заметной роли в обществе, однако и там расцвет капитализма в экономике сочетается с господством коллективистских настроений в общественной мысли. К сожалению, эта моя надежда пока не осуществилась. Я полагаю, что могу более или менее удовлетворительно объяснить капиталистическую идею среди евреев. Но основные моменты объяснения связаны с

особым положением евреев и с трудом поддаются логическому обобщению. Хочется верить, что на долю других исследователей выпадет больше успеха.

1.Благотворность капитализма для евреев.

Я начну с краткого обоснования первого тезиса—о том, что евреи очень многим обязаны капитализму. Разумется, наиболее благоприятной для евреев особенностью капитализма является конкуренция. Там, где существует монополия,—неважно, государственная или частная,—там создается возможность применения произвольных критериев при отборе тех, кто будет получать выгоду от этой монополии. Таким критерием отбора может быть цвет кожи, вероисповедание, национальное происхождение—словом, что угодно. Если же мы имеем дело со свободной конкуренцией, то учитываются только результаты хозяйственной деятельности. Рынок, так сказать, слеп к цвету кожи. Человек, покупающий на рынке хлеб, безразлично относится к тому, кто вырастил пшеницу—еврей, католик, протестант, мусульманин или атеист; белый или негр. Тот владелец мельницы, который захочет выразить свои личные предубеждения, закупая зерно только у представителей определенных групп, окажется в невыгодном положении перед своими конкурентами,лишая себя возможности выбора самого дешевого поставщика. Проявлять подобные предубеждения можно только за свой собственный счет, смирившись со снижением потенциальной выгоды.

Позволю себе проиллюстрировать значение конкуренции на ярком примере из моего личного опыта. Лет двенадцать назад я был в Монреале на международной валютно-финансовой конференции. Основными участниками конференции были крупнейшие мировые банкиры—каждый важнейший коммерческий банк был представлен двумя своими высшими руководителями. На конференции были также и люди, подобные мне—специалисты, приглашенные для докладов и для участия в дискуссиях. Как-то я разговорился с одним американским банкиром, который рассказал мне об антисемитизме, характерном, по его словам, для банковского дела в США. Этот разговор навел меня на мысль подсчитать долю евреев среди участников конференции по

обеим названным группам. Оказалось, что в первой группе, то есть среди самих банкиров, евреев насчитывалось только 1%. В группе же приглашенных участников(она была гораздо меньше, чем группа банкиров) было примерно 25% евреев.

Откуда же такое расхождение? Дело в том, что современный банковский бизнес основан на монополии в смысле отсутствия свободного доступа в эту сферу для всех желающих. Для того, чтобы заняться банковским делом, нужно специальное правительственное разрешение (привелегия). Что же касается исследовательской работы в сфере экономики и финансов, то это занятие доступно практически для всех желающих и в этой области существует выраженная конкуренция.

Приведенный пример производит особенно разительное впечатление, так как банковское дело едва ли можно назвать в числе таких отраслей, в которых евреи никогда не играли важной роли (как, например, в черной металлургии). Напротив, в течение нескольких веков евреи были важным, а может быть и ключевым элементом в банковском деле, особенно на международном уровне. Но в те времена доступ в эту область был сравнительно свободным. Это и обеспечило процветание банкиров евреев. К тому же евреи имели в этой области относительные преимущества, проистекавшее из отрицательного отношения христианской церкви к ростовщичеству и из рассеяния евреев по всему свету. Наконец, евреи были полезны правящим в Европе монархиям именно из-за своей обособленности от остальной части общества.

Пример с банковским делом проливает свет на некоторые общие особенности еврейской истории. За почти два тысячелетия жизни в диаспоре евреи неоднократно подвергались дискриминации, запретам на профессии и даже массовому изгнанию (например, из Испании в 1492 г.). Нередко народы, среди которых жили евреи, проявляли к ним крайнюю враждебность. Тем не менее евреи могли продолжать свое существование, поскольку государство не было тоталитарным, а значит всегда были какие-то элементы рынка, и евреи имели доступ по крайней мере в некоторые сферы деятельности. В частности, раздробленность политических структур и наличие многочисленных обособленных государств обеспечивали отсутствие жесткого контроля над международной торговлей и финансами, что позволяло евреям зани-

мать столь видное положение в этой области. Отнюдь не случайно, что именно нацистская Германия и советская Россия, два наиболее тоталитарных общества за последние две тысячи лет (возможно, наряду с современным Китаем), являют собой также и самые крайние примеры систематитческого государственного антисемитизма.

За последние столетия евреи достигали наибольшего процветания в тех странах, где был наиболее развит основанный на конкуренции капитализм: в Голландии XVI-XVII вв., в Англии и США XIX-XX вв., в Германии конца XIX-начала XX в.(последний пример особенно важен по сравнению с гитлеровским периодом).Более того, евреи в этих странах добивались и добиваются самых больших успехов именно в тех сферах деятельности, которые характеризуются наиболее свободным доступом и в этом смысле самым высоким уровнем конкуренции. Достаточно сравнить уже описанный мной опыт евреев в банковском деле с их опытом в розничной торговле—в этой отрасли экономики, которая рассматривается как классический пример свободы доступа и неограниченной конкуренции. Можно также сопоставить ту сравнительно малую роль, которую играют евреи в крупной промышленности, с тем выдающимся местом, которое они занимают в таких профессиях, как юриспруденция, медицина, бухгалтерское дело и т.д. Хотя в свое время доступ к этим профессиям был также ограничен, для них теперь характерна свободная конкуренция в поисках клиентуры... Мой вывод подтверждается и на уровне отдельных прфессий. Приведу пример из известной мне американской практики. В США долгое время между медициной и юриспруденцией было значительное различие в порядке выдачи государственных лицензий. По некоторым причинам, которые здесь можно не уточнять, доступ к профессии врача ограничивался более строго, чем к профессии юриста. Соответственно, доля евреев среди юристов оказалась намного больше, чем среди врачей.

Еще один пример. Американская кинопромышленость, как и всякая новая отрасль, была открыта для всех, и евреи стали играть в ней важную роль. То же произошло и после появления радио и телевидения. Но теперь, по мере усиления государственного контроля и регулирования, у меня создается впечатление, что место евреев на радио и телевидении становится менее заметным.

Опыт Израиля также демонстрирует благотворность конкурентного капитализма для евреев; причем по меньшей мере в двух отношениях.

Во-первых, Израиль едва ли был бы жизнеспособен без огромной помощи со стороны мирового еврейства—в первую очередь из США, а также из Англии и других западных капиталистических стран. Предположим, что эти страны были бы социалистическими. Не исключено, что они оказывали бы помощь Израилю, но делали бы это по другим мотивам и оговаривали бы эту помощь другими условиями. Чтобы понять это, достаточно сравнить советсткую помощь Египту или государственную помощь США Израилю с частными пожертвованиями. В капталистической системе любая общественная группа, даже самая малая, может использовать свои ресурсы по своему усмотрению, не нуждаясь в разрешении со стороны большинства.

Во-вторых, быстрое экономическое развитие Израиля, несмотря на все разговоры о централизованном контроле, основано главным образом на частной инициативе. Еще несколько десятилетий назад, после своего первого продолжительного посещения Израиля, я пришел к выводу, что в этой стране идет борьба между двумя традициями. Первая из них, имеющая почти двухтысячелетнюю историю, учит искать способы обхода государственных ограничений. Вторая традиция, зародившаяся лишь около ста лет назад, связана с верой в «демократический социализм» и «централизованное планирование». К счастью, первая традиция оказывается намного более мощной, чем **вторая**.

Подведем итог. Евреи почти никогда не выигрывают от вмешательства в их судьбу со государства, если не считать эпизодических мер защиты, предпринимавшихся отдельными монархиями, извлекавшими из евреев пользу для себя. Евреи процветают только в такой обстановке, когда общество в целом придерживается общего принципа предпринимательства, при господстве конкурентного капитализма и при терпимости ко всем общественным группам. В таких условиях они могут процветать даже несмотря на широкое распространение антисемитских предубеждений, поскольку общая вера в принцип невмешательства оказывается сильнее, чем специфическое желание дискриминировать евреев.

2.Антикапиталистическая ментальность евреев.

Несмотря на описанную историческую тенденцию, в течение последних ста лет евреи являются средоточием антикапиталистических настроений. Перу евреев, от Карла Маркса до Льва Троцкого и далее до Герберта Маркузе, принадлежит значительная часть революционной антикапиталистической литературы. В числе руководителей и рядовых членов коммунистической партии (речь идет не только о партии, совершившей в свое время революцию в России, но и о современных западных партиях, особенно об американской) доля евреев непропорционально велика—впрочем, я должен оговориться, что в эти партии входила и входит лишь малая часть всего еврейского населения. Евреи занимают столь же видное место и в менее революционных движениях социалистической направленности во всех странах мира—их много среди лидеров и рядовых членов этих движений, а также среди интеллектуалов, создающих социалистическую литературу.

Переходя далее к центру политического спектра, мы обнаружим, что в Англии евреи в основном голосуют за Лейбористскую партию, в США они преимущественно ориентированы на левое крыло Демократической партии. Программы так называемых правых партий в Израиле рассматривались бы почти в любой другой стране как «либеральные» в экономическом отношении. Все эти факты настолько хорошо известны, что не нуждаются в подробном изложении и доказательствах.

3. В чем корни антикапталистической ментальности?

Как можно согласоватьмежду собой выдвинутые мной тезисы? История продемонстрировала реальную благотворность капталисма для евреев. Обоснование этой благотворности можно найти (правда, не всегда в ясном виде) во многочисленных трудах либеральных мыслителей,

начиная уже с Адама Смита. Почему же, несмотря на это, евреи в такой сильной степени настроены против капитализма?

Для начала можно рассмотреть некоторые простые, но явно недостаточные ответы на этот вопрос. Лоуренс Фукс, автор довольно поверхностной книги «Политическое поведение американских евреев»(1956), полагает, что неприятие евреями каптализма прямо связано с ценностями еврейской религии и культуры. Он доходит даже до такого утверждения: «Коммунистическое движение, будучи своего рода христианской ересью, является в то же время еврейской ортодоксией—я имею в виду не тоталитарные и революционные аспекты мирового коммунизма, а стремление к социальной справедливости через социальное действие».

Нетрудно заметить (я еще вернусь к этому вопросу в другой связи), что Фукс является либералом в американском смысле слова. Он рассматривает политический либерализм евреев (в том же смысле) как добродетель и поэтому спешит расценить такой либерализм как закономерное наследие традиционных еврейских ценностей, таких как стремление к знаниям, любовь к ближнему и неравнодушие к земным благам. Этот автор даже не ставит перед собой и тем более не разбирает ключевой вопрос: соответствует ли экономическая цель, именуемая «социальная справедливость через социальное действие», такому политическому средству как централизованное государство.

Такое объяснение можно отвергнуть с порога. История еврейской религии и культуры насчитывает более двух тысячелетий. Противостояние же евреев капитализму и их преданность социализму можно проследить лишь за последний менее чем двухвековой период. Эта политическая ориентация сформировалась только после Просвещения, и то в основном среди тех евреев, которые порвали с еврейской религией. Вернер Зомбарт в своей влиятельной, хотя и спорной книге «Евреи и современный каптализм»(1911), утверждает, что еврейская религия и культура соответствуют капиталистическому мировоззрению, причем доводы Зомбарта гораздо более убедительны, чем аргументы Фукса в пользу противоположной точки зрения. Зомбарт писал:

«Евреи веками боролись за экономическую свободу личности, вступая при этом в конфликт с господствующими взглядами. Они утверждали, что личность не должна быть скована никакими ограни-

чениями... Я считаю, что в еврейской религии заложены те же ведущие идеи, что и в капитализме... Вся религиозная система по сути представляет собой не что иное, как контракт между Иеговой и его избранным народом... Бог что-то обещает и что-то делает, а праведные люди должны давать Ему что-то взамен. Всякую общность интересов между Богом и человеком можно было выразить таким образом—человек выполняет предписанную Торой обязанность и получает от Бога компенсацию.»

Далее Зомбарт сопоставляет отношение к богатству и бедности в Ветхом и Новом Завете.

«(В Ветхом Завете и в Талмуде) можно найти несколько отрывков, в которых бедность превозносится как нечто более благородное и высокое, чем богатство. Но в то же время нетрудно отыскать сотни высказываний, в которых богатство называется Божьим благословением, а предостережения относятся только к неправильному пользованию богатством и связанному с богатством риску.»

Для сравнения Зомбарт приводит знаменитую фразу из Нового Завета—«удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие»—и замечает:

«В Ветхом Завете богатство восхваляется столь же часто, как оно проклинается в Новом Завете... Для христиан религия является препятствием на пути к экономическому процветанию...Евреи никогда не сталкивались с таким препятствием».

И далее следует вывод:

«Свобода торговли и промышленности соответствовала еврейскому закону, а значит и воле Бога».

Я бы сказал, что книга Зомбарта в целом вызывает к себе весьма неблагоприятное отношение среди специалистов по экономической истории вообще и среди еврейских интеллектуалов в частности—ей приписывается нечто вроде антисемитской тенденции. Критика представляется во многом справедливой, но в книге нет ничего, что бы оправдывало обвинение в антисемитизме, хотя спустя несколько десятилетий после выхода книги Зомбарт и в самом деле проявил себя как антисемит. Что до меня, то я бы скорее назвал эту книгу филосемитской. На мой взгляд, острая реакция еврейских интеллектуалов на

книгу объясняется исключительно антикапиталистической еврейской ментальностью. Я еще вернусь к оценке книги Зомбарта ниже.

Что касается проблемы в целом, то я полностью разделяю точку зрения Натана Глейзера(1957). Этот ученый, придерживающийся более взвешенного подхода, чем Фукс и Зомбарт, пишет:

«Трудно усмотреть прямую связь между этим отношением (евреев к капитализму) и еврейской традицией. Разумеется, было бы грубым упрощением утверждать, что евреи Восточной Европы стали социалистами и анархистами из-за того, что древнееврейские пророки две с половиной тысячи лет назад обличали несправедливость...Возможно, что еврейская религиозная традиция каким-то сложным образом порождает в евреях предрасположенность к либерализму и радикализму, однако не так легко увидеть в современных социальных установках евреев наследие еврейской религии.»

Второе простое объяснение антикапиталистической ментальности евреев основано на том, что интеллектуалы обычно настроены против капитализма, а среди евреев доля интеллектуалов намного выше средней. Так, Натан Глейзер (1961) говорит:

«Общие причины этого явления (склонность большинства интеллигенции к левым взглядам) хорошо известны. Освободившись от оков традиционного и консервативного мышления, интеллигенция относительно легко принимает революционное мышление, направленное против установленного порядка вещей в политике, религии, культуре, обществе в целом...

Что влияет на интеллектуалов, влияет и на евреев.»

Впрочем, Глейзер сопровождает это рассуждение существенными оговорками, называя некоторые факторы, которые влияли на евреев не таким же образом, как на других интеллектуалов. Такое объединение, несомненно, более близко к истине, чем рассуждения Фукса, простодушно отождествлявшего антикапитализм с еврейской религией и культурой. Как видно из упомянутого выше примера Западной Германии, нееврейские интеллектуалы также могут в массе своей ориентироваться на принципы коллективизма. И разумеется, что идейные стимулы, о которых говорит Глейзер, воздействуют на всех интеллектуалов—евреев и неевреев. Однако это объяснение далеко от полноты

в двух отношениях. Во-первых, по моему впечатлению, доля идейных коллективистов среди еврейских интеллектуалов гораздо выше, чем среди нееврейских. Во-вторых, и это еще важнее, это объяснение ничего не говорит о различии в отношении к капитализму между евреями и неевреями, не принадлежащими к числу интеллектуалов. Чтобы понять это различие, необходимо расширить рамки анализа.

Третье простое объяснение, содержащее явный элемент истины, имеет психологический характер. Всем нам свойственно воспринимать все хорошее, что происходит с нами, как нечто естественное, приписывая в то же время все плохое злым людям или порочной общественной системе. Конкурентный каптализм позволяет евреям достигать экономического и культурного процветания, поскольку не дает антисемитам навязывать обществу свои ценности и дискриминировать евреев в ущерб интересам других людей. Но та же самая общественная система в то же время обеспечивает антисемитам возможность проявлять свои установки в своем поведении, пока это не сопряжено с ущербом для других. Таким образом конкурентный капитализм не устраняет общественного антисемитизма. Свободное соревнование идей, являющееся естественным спутником конкурентного капитализма, может со временем привести к такой перемене вкусов и ценностей, которая положит конец общественному антисемитизму. Однако нет никакой гарантии, что такая перемена произойдет. Как сказано в Новом Завете, «в доме Отца Моего обитателей много».

Несомненно, что многие евреи возлагают ответственность за остатки дискриминации на «систему». Но остается неясным, почему эта ответственность приписывается именно капитализму, а не другим элементам «системы», таким как господствующая церковь и аристократия в Англии XIX века, бюрократия в Германии XIX-XX веков, социальной (а не экономической) системе в Америке XX века? В конце концов, еврейская история убедительно свидетельствует о том, что антисемитизм не является следствием рыночной экономики. Таким образом, и это объяснение нельзя признать полностью удовлетворительным.

Теперь я перехожу к тем двум объяснениям, которые мне кажутся более глубокими. Первое из них связано с особой ситуацией, сложившейся в Европе XIX века. Я почерпнул это объяснение из весьма

тонкого анализа, произведенное Вернером Коном в его неопубликованной диссертации «Истоки американо-еврейского либерализма»(1956). Кон указывает:

«Начиная с эпохи Французской революции, европейский политический спектр разделился на «правое» и «левое», причем разграничительной линией стал вопрос об отделении церкви от государства. Правые (консерваторы, монархисты, клерикалы) полагали, что в общественном порядке должно быть место для церкви; левые (демократы, либералы, радикалы) утверждали, что церковь вообще не должна существовать как общественное учреждение...

Граница между левыми и правыми естественным образом определила и пределы политической активности евреев. Именно левые, с их новой светской концепцией гражданства, осуществили эмансипацию евреев, и только левые предусматривали для евреев достойное место в общественной жизни. Ни одна консервативная партия в Европе—ни резко враждебные евреям русские монархисты, ни французские католические клерикалы, ни даже благодушно настроенные английские тори—не могли смириться с предоставлением евреям полного политического равноправия. Евреи поддерживали левых не только потому, что те последовательно выступали за эмансипацию. У евреев просто не было выбора—правые не признавали эмансипацию свершившимся фактом и по-прежнему рассматривали принадлежность к христианской вере как необходимое условие участия в политической жизни».

Заметим в этой связи, что среди всех известных лидеров консервативных партий только двое—Бенджамин Дизраэли в Англии и Фридрих Юлиус Шталь в Германии—были евреями по происхождению, причем оба исповедовали христианство (Дизраэли был сыном принявшего христианство отца, а Шталь крестился в возрасте 19 лет).

Далее Кон приводит различие между двумя типами левых движений—«рациональным» («интеллектуальным») и «радикальным». Он замечает:

«Радикальное левое направление было первым со времен Римской империи политическим движением, в котором евреи могли стать братьями по духу с неевреями. В то время как лево-интеллектуальная ориентация была еще в каком-то смысле христианской, признавая

различие между “религиозным” и “светским”, левый радикализм, в особенности эсхатологический социализм, начал оформляться в новую религию, отрицавшую всякую грань между священным и мирским (сакральным и профанным)... (лево-интеллектуальное направление) допускало евреев в большое общество лишь формально, на сугубо рациональной основе. Присоединяясь к лево-радикальному направлению, евреи могли обрести реальную духовную общность с неевреями».

Я согласен с оценкой этих рассуждений, высказанной Глейзером: «Думаю, что автор этого отрывка подошел к сути проблемы ближе всех, писавших о ней». Аргументы Кона в значительной степени объясняют такие явления, как важная роль еврейской интеллигенции в марксистском и социалистическом движении, почти всеобщая приверженность «демократическому социализму» среди европейских евреев-участников сионистского движения (особенно среди переселенцев в Палестину), социалистические настроения среди еврейских эмигрантов в США из Германии в середине XIX века, а также среди многочисленных восточноевропейских евреев, переселившихся в Америку в конце XIX-начале XX века.

И все же концепция Кона не дает исчерпывающего объяснения антикапиталистической ментальности евреев. Напомним, что в истории США отделение церкви от государства было с самого начала закреплено в качестве конституционного принципа. Высший слой общества на первых порах состоял из христиан (протестантов), но из них же в основном состояло и остальное население. К тому же пуританская элита скорее была настроена просемитски, чем антисемитски. Зомбарт, пытаясь согласовать свой тезис о роли евреев в развитии капитализма с наблюдениями Макса Вебера о «протестантской этике» как движущей силе этого процесса, отмечает, что протестанты (в особенности пуритане) обращались за религиозным вдохновением к Ветхому Завету и строили свое поведение по образцу древних евреев. По словам Зомбарта, «пуританство и есть иудаизм». Кон также обращает внимание на это явление, указывая, что в колониальный период пуритане проявляли терпимость к евреям, несмотря на свою общую нетерпимость к другим вероисповеданиям.

Если обратиться к недавним временам американской истории, можно заметить, что Теодор Рузвельт приобрел большую популярность

среди евреев благодаря своим публичным выступлениям против погромов в России. Если не считать сплоченной еврейской социалистической общины в Нью-Йорке, большинство американских евреев в начале нашего века принадлежало не к демократам, а к республиканцам. Так было до 1920-х годов, когда сначала Эл Смит, а затем Франклин Делано Рузвельт привели в ряды демократов массу людей как справа, так и слева. Переход части левых к демократам означал ослабление европейского политического влияния на американских евреев. Тем не менее американская еврейская община, состоящая теперь в основном из американцев во втором, третьем и последующих поколениях, сохраняет в целом относительно левую политическую ориентацию.

Предлагаемое мной последнее по счету объяснение антикапиталистической ментальности евреев дополняет тезис Кона, однако не повторяет его. Следует иметь в виду, что антисемиты, не удовлетворяясь напоминанием о предполагаемой ответственности евреев за распятие Христа, выработали стереотип еврея как торговца или ростовщика, ставящего коммерческий интерес выше человеческих ценностей, жадного до денег, хитрого, себялюбивого и алчного, стремящегося «объевреить» окружающих и, подобно Шейлоку, получить свой фунт человеческого мяса. Евреи могли реагировать на распространение этого стереотипа двумя способами: либо признать справедливость такой характеристики, но отвергнуть ту систему ценностей, в рамках которой эти черты достойны осуждения; либо же принять эту систему ценностей, отвергнув данную в стереотипе характеристику как ложную и несправедливую. Если бы евреи выбрали первый путь, они могли бы подчеркивать пользу, приносимую торговцами и ростовщиками. Можно было бы, наверное, вспомнить такое рассуждение Иеремии Бентама(1787):

«Занятие ростовщика никогда и нигде не пользовалось общим признанием. Те, кто имеют решимость жертвовать настоящим ради будущего, вызывают зависть тех, кто жертвует будущим ради настоящего. Ребенок, который уже съел свое пирожное, испытывает естественную вражду к тому ребенку, кто сберег свое. Покуда человек надеется получить деньги в долг и недолгое время после получения он относится к кредитору как к другу и благодетелю. Когда же взятая в долг сумма истрачена и приближается суровый час расплаты, “благо-

детели» превращается в тирана и притеснителя. Когда человек требует назад свои деньги, это кажется притеснением. При этом не видят дурного в оставлении чужих денег у себя».

Вместе с тем, евреи могли бы заметить, что те же самые черты характера по отношению к разным людям называют то себялюбием, то независимостью; то хитростью, то мудростью; то скупостью, то бережливостью.

Впрочем, подобная реакция со стороны евреев была практически исключена. Никто из нас не может избежать воздействия духовной атмосферы общества, влияния установившейся в этом обществе системы ценностей. Покидая замкнутые гетто и местечки и входя в «большой мир», евреи неизбежно должны были усвоить ценности этого мира, в том числе и высокомерное отношение к «грубым» коммерческим интересам, презрение к ростовщикам и так далее. Евреи были вынуждены сказать себе: если мы действительно таковы, значит, антисемиты правы...

Но можно было и ответить на антисемитский вызов по-другому, отрицая свое сходство со стереотипом и убедить себя (а заодно и антисемитов) в том, что евреи вовсе не корыстолюбивы, эгоистичны и бессердечны, а напротив, проникнуты общественными интересами, благородны и ставят идеалы много выше материальных соображений. А для этого проще всего было критиковать рынок с его культом денег и обезличиванием сделок, подчеркнуть значение политических преобразований и наконец, провозгласить своим идеалом государство, в котором властвуют наделенные доброй волей люди, стремящиеся к благу своих сограждан.

Я впервые сформулировал это объяснение антикапиталистической ментальности евреев на основе своих впечатлений от жизни в Израиле. Проведя там несколько месяцев, я пришел к такому выводу: в любой сфере жизни ценности израильских евреев прямо противоположны ценностям евреев диаспоры.

В диаспоре евреи жили в городах и занимались коммерцией, будучи далеки от сельского хозяйства; в Израиле сельское хозяйство— гораздо более пристижное занятие, чем коммерция.

В диаспоре евреи всячески стремились уклониться от военной службы; израильтяне придают военному делу большое значение и достигли в нем необычайного умения.

Мне могут сказать, что эти два сдвига объясняются практической необходимостью, однако мои примеры еще не окончены.

Евреи диаспоры говорили на идиш или на ладино. В Израиле эти языки не в почете, а национальным языком стал иврит.

Евреи диаспоры придавали ведущее значение умственной работе и свысока относились к спорту; в Израиле спорту уделяется огромное внимание.

И еще одно наблюдение, вроде бы не имеющее отношения к делу: в диаспоре евреи имели репутацию отличных поваров; кухня в израильских домах, гостиницах и ресторанах обычно отвратительна.

Разве нельзя истолковать все эти факты как попытку (разумеется, на уровне подсознания) показать миру ложность общепринятого стереотипа еврея?

Таким же образом я интерпретирую данные Уилсона и Бэнфилда(1964) о том, что евреи (как и «янки») обычно стремятся служить своей местной общине и обществу в целом, проявляя относительно высокую готовность жертвовать своими личными интересами (с этой же точки зрения я объясняю и попытку Фукса связать еврейский либерализм с еврейскими традиционными ценностями, а также отрицательное отношение еврейских критиков к книге Зомбарта). Если, подобно мне, вы считаете, что из всех экономических систем именно конкурентный капитализм наиболее благоприятен для свободы личности, творческих достижений в науке, технике и искусстве и для расширений возможностей каждого, тогда мысль Зомбарта о ведущей роли евреев в развитии каптализма будет восприниматься вами как весьма лестная для евреев. Вы, как и я, будете расценивать его книгу как филосемитскую. Если же вы попытаетесь показать, что идеалом евреев является самоотверженное служение обществу в социалстическом государстве и что торговля и ростовщичество не имеют ничего общего с их природными склонностями и были навязаны им роковым стечением обстоятельств—тогда вы будете считать Зомбарта антисемитом, пропагандирующим ненавистный для вас сереотип еврея. Именно

в этом духе «Всеобщая еврейская энциклопедия» говорит о Зомбарте следующее: «Он обвинил евреев в том, что они создали капитализм»(курсив мой). Должно быть, для читателя самоочевиден взаимодополняющий характер двух последних объяснений антикапиталистической ментальности евреев. Откуда исходит та система ценностей, в которой служба обществу ставится выше, чем забота о себе и своей семье, работа на государство—выше частного предпринимательства, политическая деятельность—выше коммерческой, любовь к человечеству в целом—выше заботы о конкретных людях, социальная ответственность—выше индивидуальной? Во многом из этого коллективистского направления мысли, которые так распространилось среди евреев по причинам, названным Коном.

Задумаемся, какую реакцию мог бы вызвать антисемитский стереотип у английского философа-радикала XIX века, пропитанного бентамовским утилитаризмом—скажем, у Давидо Рикардо, Джеймса Милля или даже у Томаса Мальтуса? Разве кто-либо из них назвал бы утверждение о ведущей роли евреев в создании капитализма обвинением? Для них такое утверждение звучало бы как высокая похвала. Они бы рассматривали якобы присущую евреям склонность высчитывать прибыль как именно то, что нужно для обеспечения «наибольшего блага для наибольшего числа людей», предпочтение личных интересов общественным—как следствие приверженности свободе, и т.д.

4.Заключение

Таким образом, антикапиталистическая ментальность евреев объясняется: 1)особой ситуацией в Европе XIX века, когда партии, выступающие за развитие рынка, оказались связанными с господствующими вероисповеданиями, что бросило евреев в объятия левых партий; 2)неосознанным стремлением продемонстрировать себе и миру ложность антисемитского стереотипа. Разумеется, действие этих факторов усиливалось, а взгляды евреев несколько менялись под воздействием их историко-культурного наследия, которое обостряло восприимчивость к несправедливости и социальную отзывчивочть. Играли свою

роль также и общие причины, располагающие интеллектуалов к левой политической ориентации.

Независимо от того, удалось ли мне разрешить парадокс, сформулированный в начале статьи, я могу утверждать, что идеология евреев по-прежнему противоречит их собственным интересам. В странах Запада этот конфликт носит скорее потенциальный, а не реальный характер—ведь при капитализме, не требующим вмешательства государства, стремление евреев улучшить свое экономическое и социальное положение не сталкивается с препятствиями из-за их приверженности социалистическому идеалу. Они могут позволить себе роскошь оспаривать антисемитский стереотип—и при этом извлекать пользу из тех самых черт, которые карикатурно представлены в этом стереотипе. С некоторым упрощением таких евреев можно сравнить с богатыми салонными социалистами (любого происхождения), которые упиваются своей ханженской добродетелью и обличают капитализм, пользуясь при этом роскошью, доставшейся им от капитализма.

Однако по мере расширений функций государства, по мере распространения коллективистских идей, меняющих структуру общества, этот конфликт становится все более реальным. Я уже упоминал о ситуации в Израиле, где рыночные стимулы приобрели гораздо большее значение, чем предполагали в своей идеологии вожди раннего сионизма. В США сравнительно недавно на меня произвел впечатление конфликт, возникший в связи с некоторыми заявлениями сенатора Макговерна в ходе его неудачной кампании за президентский пост. Его предложение (позднее снятое) установить ограничение на величину наследства вызвало немедленную негативную реакцию даже среди тех, кто считались и были его самыми горячими сторонниками. До них дошло, что такая мера, вполне укладывающаяся в рамки их идеологии, могла бы резко затормозить их вертикальную социально-экономическую мобильность, от которой они выигрывали.

Возможно, что когда конфликт станет реальным, это положит конец парадоксу, проанализированному в данном очерке. Таким образом, грозное наступление коллективизма принесло бы и кое-какой положительный результат.

Перевод с английского Н.Руденского.

Эли **ВИЗЕЛЬ**

ЭТА БОЛЬ, ЭТА СКОРБЬ

Почему эта боль разрывает сердце? И эта скорбь? И чувство, что что-то не так в этой странной истории?

Ведь никто не подвергает сомнению виновность Демьянюка. Допустим, он не был в Треблинке. Но в Собиборе он был! И охранники Собибора не отличались человеколюбием. Так почему же ему полагается свобода?

С другой стороны, Верховный суд решил так, и мы, безусловно, должны принять этот приговор.

Как еврей, я испытываю полное доверие к израильской юридической системе и к ее судьям. В каком-то смысле мы даже можем гордиться ею за то, что не испугалась затронуть чувства общественности и утвердить беспристрастность суда как высшую ценность.

Безусловно, будут и такие, кто скажет, что с точки зрения истории этот приговор делает честь государству Израиль. Но если подумать о мучениках концлагерей, чудом выживших во время Катастрофы, если подумать о них—о тех, кто свидетельствовал, о тех, кто положил свою еврейскую память и свою еврейскую честь на чашу справедливости,—то нельзя не почувствовать боль их разочарования. Потому что какой урок можно извлечь из этого несчастного суда с их точки зрения и с точки зрения других, чудом спасшихся во время Катастрофы?

Что совершенно нельзя полагаться на силу их памяти, что любой документ, найденный в советском архиве, обладает большей силой, что правда этого документа выше их свидетельских показаний, явившихся итогом их жизни. Иными словами—все, что они говорили, подвергнуто сомнению.

Из всего этого вытекают крайне неприятные следствия: завтра могут сказать всем, пережившим Катастрофу, что и на их память нельзя полагаться. А есть ли у этех евреев, у этих чудом оставшихся в живых свидетелей что-нибудь важнее их памяти?

Юристы, видимо, будут утверждать, что в конце концов именно суд вышел победителем. Что касается меня, то я не знаю, чья это победа. Но я твердо знаю и говорю это с глубокой скорбью, что еврейская память потерпела поражение.

Эли ВИЗЕЛЬ,
писатель, лауреат Нобелевской премии,
спасшийся во время Катастрофы европейского еврейства.

«Едиот ахронот», 27 июля 1993

(Печатаем по тексту в газете «іностранец», 4 августа 1993)

Владимир КЛИМОВ (Москва)

ЛИЦЕДЕЙСКОЕ И ЛИЦЕЙСКОЕ

(к портрету Татьяны Сельвинской)

Татьяна Сельвинская—художник уникальной судьбы для нашего времени. Эстетически лицедейская образность ее творчества—оборотная сторона этически лицейского (в широком метафорическом и старом, пушкинском, смысле слова) образа жизни... Ее живопись—следствие ее жизни, конечно. Все так... Но и ее жизнь—следствие ее живописи, не менее влиятельное и действенное... Этот максималистский, романтический принцип, при котором Искусство—не часть жизни, а венец ее, высшее напряжение и предел, кульминация и смысл (и поэтому оно—Искусство—диктует Жизни свои законы)—очень близок Татьяне Сельвинской...

Ее нечастые вернисажи застают художника не на размеренном пути, где каждое следующее выставление—логическая кульминация определенного этапа жизни, постепенно набравшей очередное «второе дыхание» к очередной встрече со зрителем и оставляющее художника (при закрытии выставки) опустошенным...То были бы—не сельвинские выставки... Её выставки застают свою бенефицианку всегда врасплох... В разгар новых исканий, в динамичном движении, когда каждый день—кульминация, предел, максимум. Когда творчество—всегда новость... Когда жизнь художника—не будничность развития идей, но праздник их рождения, придумывания, сочиненья, даже если на этом празднике печать и печаль переживания жизни. Праздник—как преодоленье драмы, прорыв сквозь нее—в этом, я думаю, пафос ее удивительного по изысканной красоте пиршества красок.

Есть особое, игровое свойство и, одновременно, трепетность в обращении Татьяны Сельвинской с краской, с цветом... Это роднит ее с трепетной игрой поэта со словом. В ее палитре—краска не формальна, но смыслова. Она несет собственную нагрузку, как бы не зависимую от контекста живописного текста в целом, как бы самоценную, как для поэта самоценна звукопись слова, иногда работающая на сопротивлении внешнему, очевидному—нами нагруженному—смыслу...

Ее портретные парсуны, этот эпический театр ее друзей (так бы я назвал изобретенный ею карнавал лиц), всегда поданных на «подмо-

стках» ее картин укрупненно, зрелищно, в конфликте—со своим прототипом, с соседними портретами, с их автором—то есть именно театрально,—не просто другая реальность, но очень реальная сила, на равных соперничающая с «моделями»... Теперь, если хотите, наше знание подлинников без этих полотен—неполно, неточно, недостаточно...

Ее лицедейство в том, что на подмостках своих картин—она «играет» своих друзей, разыгрывает спектакль из лиц, но не «заигрывается» до перевоплощения в оных, а по-брехтовски отчуждает их личности своей интуитивной фантазией на тему заданного челолвека. Она не «умирает» по-станиславски в играемых друзьях, но по-режиссерски, по-авторски интерпретирует их главную, кульминационную суть; она не декламирует/декларирует портрет, но спорит с ним сквозь его черты. Она не копирует реальность, но вмешивается в нее, создавая с оригинала—оригинал же.

Всегда с азартом наблюдаю на вернисаже конфликтно-дружественное столкновение портретов с прототипами. О нет, то не были двойники. Повторяя реальность, Т.Сельвинская изменила б себе. На выставке сталкиваются два взаимопроникающих, контактно-контрастных мира, общение которых дает поразительный эффект и повод заново перепредставить наши представления о взаимодействии жизни и искусства...

Удача «Мастерской»—одной из лучших картин-зрелищ Татьяны Сельвинской—в том, что здесь она в лицедействе, то есть буквально в действе лиц, выразила свое лицейское житие... Ведь она немыслима без театра своих друзей, который творчески и последовательно утверждает в жизни, тщательно отбирая свой круг, рифмуя своих сокругников... Только от чистого театра такое жизнестройкое друговаяние отличается невозможностью репетиций—игрой набело.

У тотально художнических, артистичных натур способ жить—есть репетиция полотен, игра на которых—венец лицейски-студийной жизни, как бы содержание картин. «Мастерская»—своеобразный эстетически-философский манифест Татьяны Сельвинской, при всей своей изменчивости, подвижности——очень цельна по уровню самовыражения и самоосознания мира-в-себе и себя-в-мире. Это ее свойство отчеканено в точном однострочие, выдающем в художнике поэта:

ЖИТЬ НЕ ХОЧУ ТАК, КАК НЕ ХОЧУ ЖИТЬ

Истоки судьбы и дара Татьяны Ильиничны Сельвинской (так не у всех!)—в детстве. Она вспоминает о творческих принципах, воспринятых от отца—поэта Ильи Сельвинского. Многое главное—от него.

И хотя лишь в «черно-белой»половине жизни пришли к ней стихи, поэтом она была всегда.

Я художник театров бедных.
Даже слабость станет силой
с помощью воображенья.
Изощренности стихия,
мир фантазии свободной,
здесь какой-то быт походный,
да азарт, да озорство
заостряют мастерство.
Вот и сторона медали
та, что числится обратной—
здесь пишу свои стихи я...
. . . .
здесь я знаю—я богата.

Основная профессия Татьяны Сельвинской—театральный художник, сценограф... Сценоцарь! Ибо царственна ее работа. Она воспринимает пьесу через цвет («Я занимаюсь драматургией цвета») и пространство... Пространственно-цветовое решение художника диктует режиссеру не среду бытования актеров, не иллюстрации к пьесе,—а образно-метафорический парафраз ее идеи и духа на пластическом языке другого искусства...

Конечно, при этом учитывается режиссерская воля, е г о взгляд на пьесу, е г о понимание—и тогда определяющим для Сельвинской становится творческая, эстетическая, человеческая совместимость с идеями и миром постановщика... (И здесь мы видим проступающий сквозь лицедейство лик романтического лицеизма.)

Татьяна Сельвинская—трудный художник. Она ставит в чрезвычайные условия режиссера, актера... Ее сценографии, красками преображающей, присваивающей драму, противопоказано механическое, легкомысленное и нетворческое отношение актеров, режиссеров. Она должна быть освоена, присвоена ими, иначе выпадет из зрелища, заживет внеансамблево, хотя весьма эффектно и привлекательно для зрителей, а потому для своих внеконтактных созрелищников—убийственно.

Ее миссия в театре—будоражить воображение и режиссерскую мысль. Что роднит ее с миссией поэта в театре. Всеволод Мейерхольд сказал, что пьесы Владимира Маяковского при постановке заставляют

развивать все театральные цеха, все его составные, как творческие, так и технические...

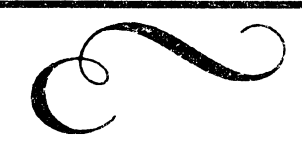
Поэтическая сценография Татьяны Сельвинской — своей изобретательностью, фантазией, своим Авторством — побуждает режиссерскую волю к решению неразрешимых задач. В этом ее урок театру.

Активным отношением к литературе Татьяна Сельвинская прививает вкус к освоению ее, а не пассивному чтению. Это ее урок читателям.

Наконец, Татьяна Сельвинская не воспроизводит литературу в красках и линиях, а ищет пластический эквивалент сути на другом языке, помноженный на ее собственный мир. Это ее урок художникам.

Уроки исподволь, ненамеренные — житием-в-призвании и призванием-в-жизни.

«Владимир КЛИМОВ и Татьяна СЕЛЬВИНСКАЯ».
(рис. Т. Сельвинской)



Татьяна СЕЛЬВИНСКАЯ

Сквозь пятна хаоса, переплетенья линий,
Портрета моего последние штрихи:
Ты любишь ли?—слагаются стихи.
Не любишь ты?—рождаются картины.

Говоря—говори,
но стрелы твоих мыслей
пробивают стену слов,
и становится она
стеной плача.

Момент владения искусством
Никто не волен расчитать.
Уж где там? Радостно ли, грустно
В смятеньи сложно расчленять.
Но вот расцвел жасмина куст—
Жеманность выразишь искусно,
Мешая краски сочно, густо,
Чтобы не только запах—хруст
Расцветших лепестков услышать.
И слово музыку допишет,
И чувство вскроет закрома.
Тогда бумаги белизна
Цветами радуги задышит

И снова грусть, и пустота. И на душе—зима.

СТИХИ ДЛЯ КАРТИН "ВРЕМЕНА ГОДА", КОТОРЫЕ НЕ СОСТОЯЛИСЬ.

1

Белые ткани зимы
Белой земли.
Белый покров покрыл

Ноги моих стволов.
Сучья мои надломились,
Но тянутся, тянутся ввысь.
укрой
то, что еще...
Что оживет весной.

2

Воздух весенний тих.
Мечется в воздухе пух.
Только дрожит слегка
Голубизна,
Сиренева.
Вестница Флоры —
Весна.
Ветви мои она
В тонкий окутала флер.

3

Медленно движется Лета.
Кроны тяжелые лета.
Почки мои—
Свечки.
Листья мои—
Мысли.
Льется беспечная песня
Под синью небес, под сенью...
Завтра—осень.

4

Осень в кровавых лохмотьях,
В рубцах, в синяках...
Билась на страх
Не на совесть. Дрянь
Дело. Печаль.
Круг завегшен...
Запах сожженных
Листьев. Так—изначально.

РОБЕРТ ФАЛЬК

Однажды я встретила его влекущегося по улице.
Он читал книгу, держа ее близко у глаз.
Он двигался по тротуару и мостовой,
перебирая ногами, как ластами,
а машины и люди огибали его.
Серая вязаная шапочка,
длинное черное сутулое пальто,
ветхие бархатистые страницы.
На лице не покждавшая его блаженная улыбка.
Сегодня все читают на ходу.
Читают в давке, в спешке, впопыхах,
глотая чтиво и еду одновременно,
ничего не успевая, но желая успеть все.
Он читал на ходу спокойно и не торопясь,
его мир был всегда с ним,
окружающее не мешало ему.
В одиннадцать лет я поднималась к нему в мансарду
и писала натюрморты,
а он притрагивался к старинному инструменту
(клавесин? фисгармония?),
и возникала тянущаяся музыка...
И эта музыка, и пепельный свет его мастерской,
и особый запах, вобравший в себя и лак, и краски,
жившую мебель, и поникшие цветы...
Он любил ржавую рябину на фоне золотых шаров.
Я привозила их с дачи.
Свет и запах его комнат
целиком проникал в его холсты.
Улыбка с легким покачиванием головы,
походка с едва заметным покачиванием тела,
приглушенный голос,
медленные, как прикосновение к клавишам,
слова (ценно каждое!),
серебристый цвет воздуха и запах, запах...
все в его картинах, творец и творение,
перелилось одно в другое.
Удивительной была его жизнь,
без суеты, без зависти, без позы,
истинная жизнь художника.

АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР

Грустно. Он идет рядом, шаркая ногами.
Его мастерская на втором этаже,
где лифт не станавливается.

Он едет сначала на третий этаж,
а оттуда спускается на второй,
Но в мастерскую приходит раньше всех
и позже всех уходит.

В мастерской мы еще немного отдыхаем.

В ярких банках—уйма стертых узких кистей.
«Я их теперь не выбрасываю.
Оказывается, художники на периферии нуждаются в кистях и страшно радуются,
когдая им дарю свои.
Они нагревают наконечники,
плоскогубцами вытягивают волос,
охлаждают, зажимают и опять используют».

Он забывает самые обиходные слова.
Например - подрамник.
«Я тут написал многофигурную композицию—
сельский театр, театр на природе.
Знаешь, как трудно было...
Но если очень постараться—обязательно получится.
И все равно пришлось людей поднять на подмостки,
потому что искусство помещается где-то
между небом и землей».

«Я не буду показывать тебе много работ.
Так, несколько.
Самые последние. Только ты мне не помогай.
Яне люблю».

Наконец, он поворачивает полотно.
И останавливается дыхание,
        как от удара в солнечное сплетение,—
кобальт синий темный,
        кобальт синий светлый

и неизменная изумрудка,
крап-лаки и киноварь,
всяческие охры—
плывущий,
вибрирующий,
цветовой поток;
пляшущие, звонкие, хлопающие лаги,
пляшущие, звонкие, хохочущие скоморохи,
женщины-башни,
женщины-домики,
женщины-лунный свет;
бубенцы-бубенчики, балаганы, балалайки,
летящие женщины в птицах на шляпах,
поющие,
льющиеся,
воздыхающие;
женщины-горы, города-театры
звенящие,
зрячие,
слепящие
холсты...
А он говорит и говорит, просто и буднично.
Тышлер Александр Григорьевич—
человек-праздник.

МИХАИЛ КУРИЛКО-СТАРШИЙ

Я давно хотела рассказать о моем прекраснон учителе. Он был красив той физической красотой, которая одна только отображает красоту духа.
Он знал все и все умел.
Он выполнил самый большой (и превосходный) офорт в мире, построил уникальный театр в Новосибирске, оснащенный новейшей техникой, сочинил либретто и декорации к балету «Красный мак», а духи того же названиясозданы египетским специалистом по запаху его кожи.Он охотился на тигров, скрывался в подполье, безошибочно отличал подлинник от фальшивки, был знатоком вин, экспертом всего и вся, страстным коллекционером,замечательным садовником, его собака подходила к телефону, а кошка (сама ви дела) подымала

лапу с растопыренными когтями и просила еду («такая некрасивая кошечка—надо было ее чем-нибудь украсить»), лечил пчелами и потерял глаз на дуэли.

В семьдесят два года был самым сильным человеком в институте (гнул подкову), с места брал лужу в два (три) метра диаметром и преподавал рисунок по собственной теории формы.

Я до смерти влюбилась в него, семидесятидвухлетнего, а ему нравилась наша смазливенькая секретарша. Он возил ей в элеган ных чемоданах необычайную, им самим выращенную, махровую, всю в росе сирень, а она видела в нем только пошлого старика.

Он ходил с черной повязкой над пустой глазницей, великолепно одевался в тона цвета беж, покрывал ногти лаком, носил очки из целых кусков сиреневого топаза, придавал своим совершенно седым волосам тот же сиреневый оттенок, боготворил музыку, поэзию и женщин. После третьего курса, при распределении по мастерским, когда в институте начиналось избиение младенцев, он подбирал всех двоечников и брал к себе.

Он вел у нас театральную композицию, лепил наши души и формировал мышление. Он замечательно учил нас, относясь к нам, отверженым, с особым уважением. Его спрашивали: «Как вы из таких отсталых делаете отличников?» «А я им просто не мешаю.» Это была единственная ложь, слышанная мной от него. Я до сих пор свято верю во все его рассказы о себе и легенды о нем. Он уверял даже, что знает, как зачать мальчика, а как девочку.

И дом сырой...
И серый дым...
И старый сад. ..
Скрипят
Ступени скверные
И стонут...
Тишина-а...
И тени стертые...

На вкладках - работы Т. Сельвинской, ее наставников, друзей.



Т.СЕЛЬВИНСКАЯ. *«Автопортрет».*



Т. СЕЛЬВИНСКАЯ. *«Гамлет и Офелия».*



Т. СЕЛЬВИНСКАЯ. *«Фридрих Горенштейн»*.



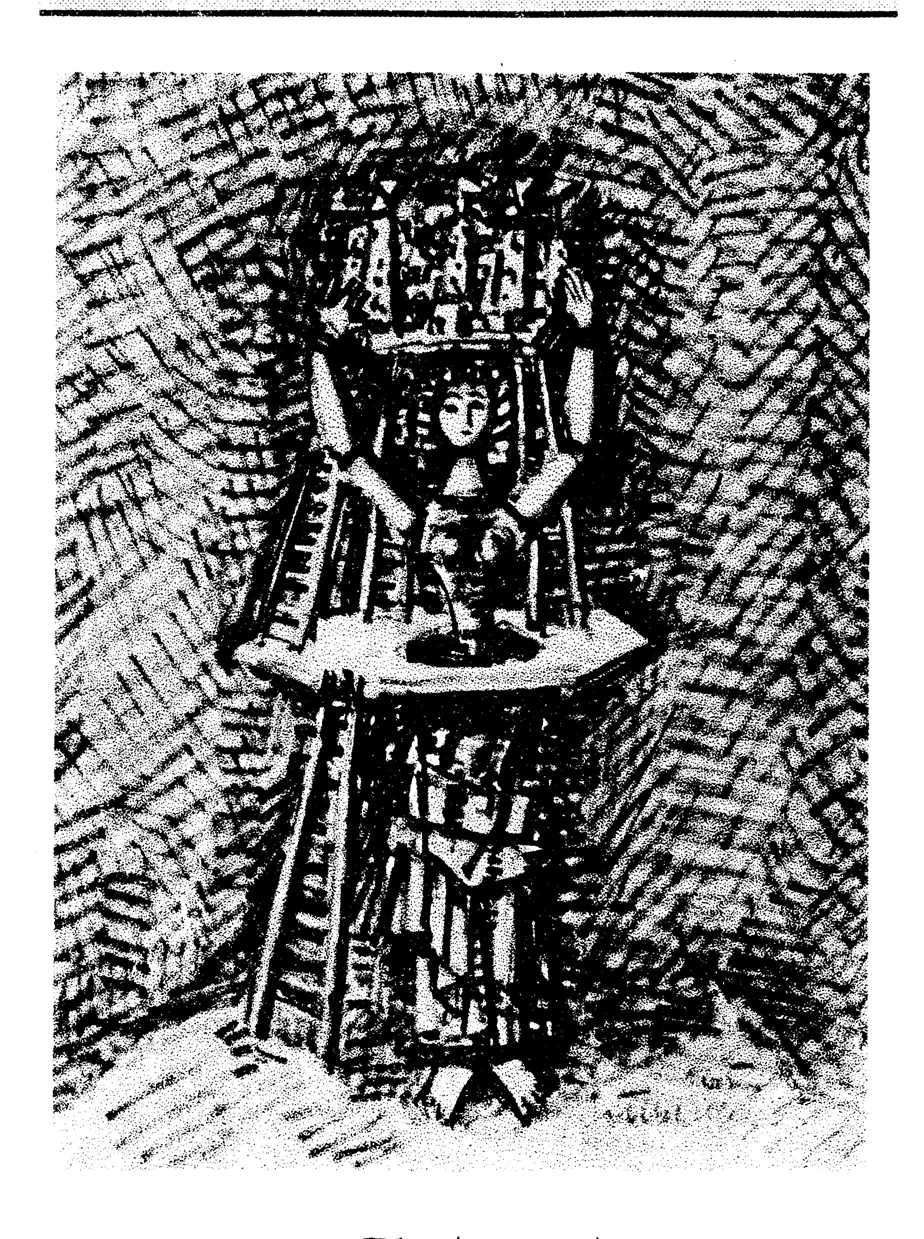
Т. СЕЛЬВИНСКАЯ «Безумная».



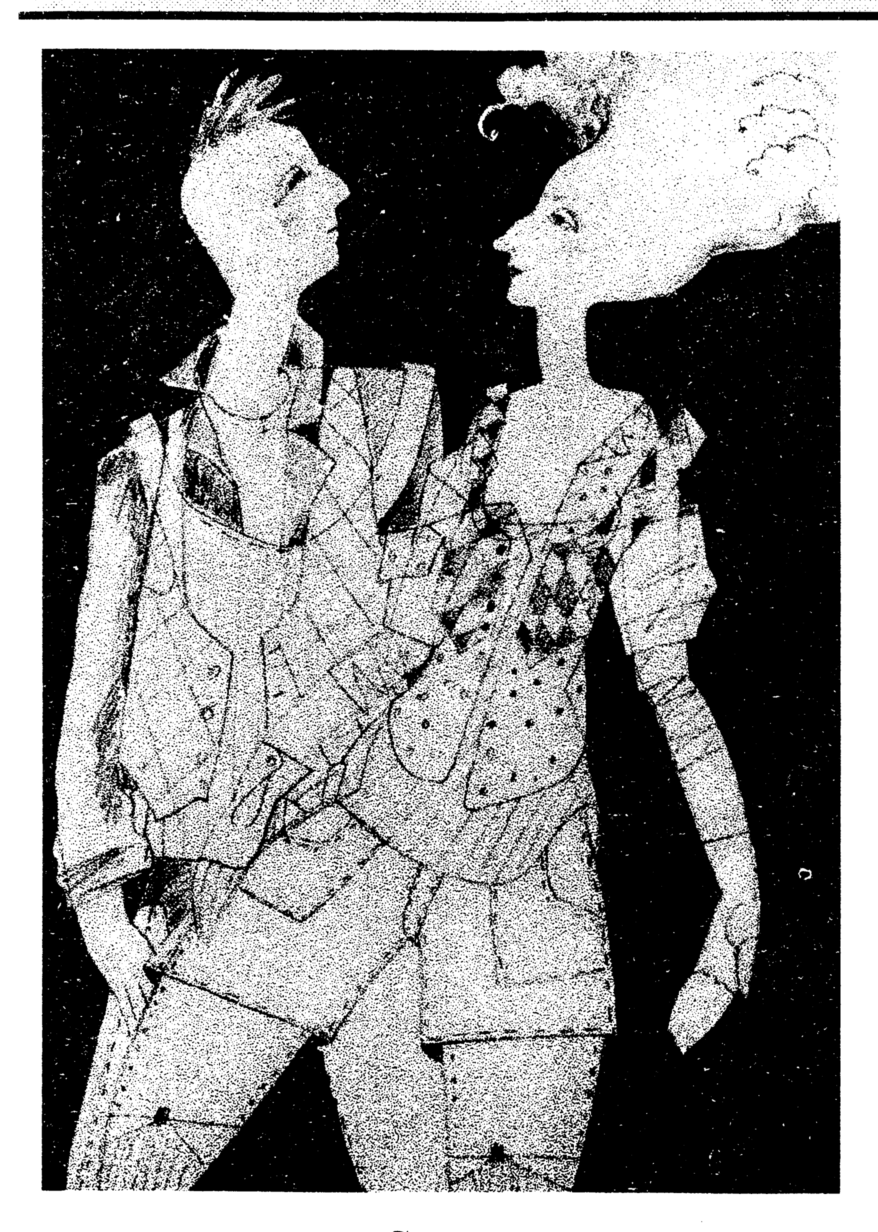
Т. СЕЛЬВИНСКАЯ «Мимоза».



Т. СЕЛЬВИНСКАЯ «Гурзуф».



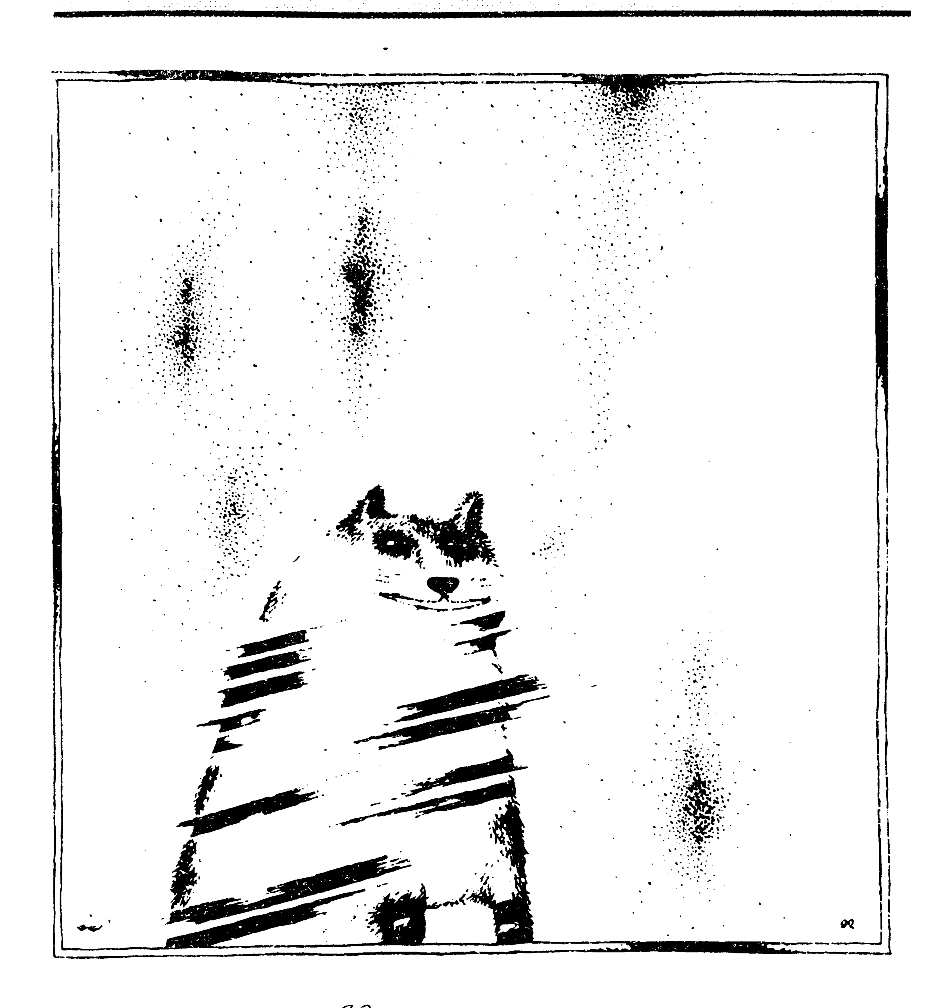
Александр ТЫШЛЕР. «*Театральное представление*»



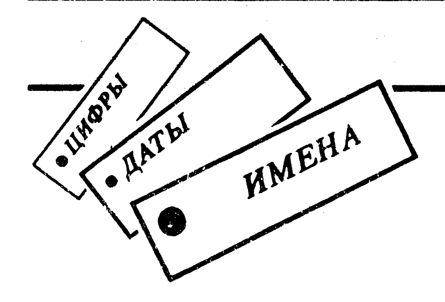
Ксана **ШИМАНОВСКАЯ.** «*Свидание*».



Ефим ЛАДЫЖЕНСКИЙ. «Плед».



Виктор ПУШКИН. «*Кот*».



ОЛИМПИОНИКИ

Я, конечно, понимаю, что может показаться несколько странным деление олимпиоников (т.е. олимпийских чемпионов) по национальности. Ведь на Играх спортсмен представляет только свою страну.

И тем не менее после издания моих книг—«Герои олимпийских баталий», «От Афин до Москвы», «638 олимпийских чемпионов», «От Олимпии до Москвы», «Советская глава олимпийской истории»»—в письмах, которые приходили от читателей, нет-нет да и возникали вопросы о национальности олимпийских героев, их вероисповедании... Поэтому я охотно откликнулся на предложение главного редактора «Ноя»Вардвана Варжапетяна попытаться выделить из когорты олимпиоников армян и евреев.Работа оказалась безумно сложной, поскольку ни в одном олимпийском справочнике, в какой бы стране и на каком бы языке он ни выходил, нет даже тени упоминания о сугубо советском «пятом пункте». И все же кое-что удалось добыть. Заранее прошу прощения у читателей за возможные ошибки и за явную неполноту сведений.

Валерий ШТЕЙНБАХ

ЕВРЕИ—ЧЕМПИОНЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1. **АБРАХАМС Харольд.** Великобритания. На Олимпиаде 1924 г. в Париже занял 1-е место в беге на 100 м, показал результат 10,6 сек.— новый Олимпийский рекорд.

новый Олимпийский рекорд.

2. АБРАХАМСЕН Исаак. Норвегия. Чемпион Олимпиады 1912 г. в Стокгольме в командном первенстве по гимнастике.

3. АЗЕРБРУК Анри. Франция. На Играх 1900 г. в Париже завоевал золотую медаль по гребле в четверке распашной без рулевого.

4. АМАНН Макс. Германия. Участник команды ватерполистов—победительницы Олимпиады 1928 г. в Амстердаме.

5. АНСПАХ Анри. Бельгия. Чемпион в командном первенстве по фехтованию на шпагах на Играх 1912 г.

6. АНСПАХ Поль. Бельгия. Участник трех Олимпиад. В 1908 году получил бронзовую медаль в командном первенстве по фехтованию на шпагах, в 1912—две золотые медали в личном и командном первенстве среди шпажистов, в 1920—серебряную медаль в командном первенстве по шпаге.

7. АРЕНА Эрменджильдо. Италия. На Играх 1948 г. в составе команды завоевал золотую медаль по водному поло.

8. АРИ Марк. США. Завоевал две золотые медали на Олмпиаде 1920 г. в Антверпене в личном и командном первенстве в стрельбе по «голубям»

9. АШЕНФЕЛЬТЕР Хорэйс. США. Чемпион Игр 1952 г. по бегу на 3000 м с препятствиями. Установил новый олимпийский рекорд.

10. БАННОЛОВСКИ Вольдемар. Дания. Чемпион Игр 1976 г. по парусному спорту в классе «Солинг».

11. БАРБАШИНСКИЙ А. СНГ. Игрок команды, завоевавшей золотую медаль на Олимпиаде 1992 г. по гандболу.

12. БАУМАН Алекс. Канада. Чемпион Игр 1984 г. по плаванию на дистанцию 400 м комплексным плаванием.

13. БАРТА Иштван. Венгрия. Золотой медалист—участник команды ватерполистов на Олимпиаде 1932 г. в Лос-Анджелесе.

14. БАУЭР Рудольф. Венгрия. Победил в метании диска на Олимпиаде 1900 г. с новым олимпийским рекордом—36,04 м.

15. БЕБЕЛЬ Бронислав. Польша. Входил в команду, выигравшую волейбольный турнир на Олимпиаде 1976 г.

16. БЕВЕКЕ Эмиль. Германия. Участник команды ватерполистов—победительницы Игр 1928 г.

17. БЕККЕР Борис. Германия. Один из лучших теннисистов мира. Чемпион Игр 1992 г. в мужском парном разряде.

18. БЕЛЕНЬКИЙ Валерий. СНГ. Победитель Олимпиады 1992 г. в командном первенстве по гимнастике. Бронзовый призер в многоборье.

19. БЕНТХЭМ Исаак. Великобритания. Участник команды ватерполистов—победительницы Игр 1912 г.

20. БЕРГЕР Исаак. США. Чемпион Игр 1956 г. по тяжелой атлетике в полулегком весе. Установил новый мировой рекорд в троеборье, олимпийские рекорды в рывке и толчке. На Олимпиадах 1960 и 1964 гг. завоевал серебряные медали.

21. БЕРГЕР Самюэль. США. Чемпион Олимпиады 1904 г. в Сент-Луисе по боксу в тяжелом весе.

22. БЕРГЕР Туре. Норвегия. Чемпион Игр 1968 г. в гребле на байдарке-четверке на дистанции 1000 м.

23. БЕРКМАН Джейн. США. Победила на двух Олимпиадах—1968 и 1972 гг. по плаванию в составе команды в эстафете 4 х 100 м вольным стилем.

24. БИБЕРШТЕЙН Арно. Германия. Чемпион Игр 1908 г. в Лондоне в плавании на спине на дистанции 100 м.—1.24,6.

25. БИЛЬМАЙЕР Нелли Васильевна. СССР. Чемпионка Игр 1976 и 1980 гг. по баскетболу.

26. БИРЛЬ Алоис. Германия. На Олимпиаде 1972 г. стал чемпионом в гребле на четверке распашной с рулевым.

27. БЛАНКЕРС-КУН Франсина. Нидерланды. Четырехкратная олимпийская чемпионка. Все четыре золотые медали завоевала на Олимпиаде 1948 г. Она была первой в беге на 100 и 200 м, установила новый олимпийский рекорд в беге на 80 м с барьерами и вместе с подругами по команде победила в эстафете 4 х 100 м.

28. БЛУМБЕРГ Фанни. Швеция.Входила в команду гимнасток, завоевавшую на Играх 1952 г. первое место в упражнениях с предметом.

29. БОЛОНЬЕЗИ Аурельяно. Италия. Чемпион Игр 1952 г. по боксу в легком весе.

30. БОЛТЕР Сэмюэль. США. Участник команды баскетболистов—победительницы Игр 1936 г. в Берлине.

31. БРАУН Лоуренс. США. Чемпион Игр 1964 г. по баскетболу.

32. БРАУНИНГ Дэвид. США. Чемпион Игр 1952 г. по прыжкам в воду с трамплина.

33. БРОДИ Дьердь. Венгрия. Участник команды ватерполистов—по-

бедительницы Игр 1932 и 1936 гг.

34. БРУКС Натан. США. Чемпион Игр 1952 г. по боксу во 2-м наилегчайшем весе.

35. БУЗАНСКИ Ене. Венгрия. Чемпион Игр 1952 г. по футболу.

36. ВЕЙНБЕРГА Татьяна Эдуардовна. СССР. Чемпионка Игр 1968 г. по волейболу

37. ВЕЙСМЮЛЛЕР Джон. США. Обладатель пяти золотых Олимпийских медалей в плавании. Один из выдающихся пловцов всех времен. На Играх 1924 г. установил два новых олимпийских рекорда, выиграв дистанции на 100 и 400 м вольным стилем, соответственно: 59,0 и 5.04,2 и был соавтором нового мирового рекорда в эстафете 4 х 200 вольным стилем. На Олимпиаде 1928 г. установил новый олимпийский рекорд на дистанции 100 м вольным стилем—58,6 и еще одну медаль получил в эстафете 4 х200 вольным стилем.

38. ВЕЙНЦ Рихард. Венгрия. Чемпион Игр 1908 г. в тяжелом весе в класической борьбе.

39. ВЕКМАН Вернер. Финляндия. Полутяжеловес, победивший в классической борьбе на Играх 1908 г.

40. ВЕЛДМАН Уэйбо.Новая Зеландия. Чемпион Игр 1972 г. по гребле на восьмерке.

41. ВЕНГЕРОВСКИЙ Юрий Наумович. СССР. Чемпион Игр 1964 г. по волейболу.

42. ВЕРКНЕР Лайош. Венгрия. Чемпион Игр 1908 и 1912 гг. по фехтованию на саблях в командном первенстве.

43. ВИДЕМАН Лидия. Финляндия. Чемпионка зимних Олимпийский игр 1952 г. в лыжной гонке на 10 км.

44. ВИМАН Давид. Швеция. Победитель в командном первенстве по гимнастике на Играх 1908 и 1912 гг.

45. ВИНКЛЕР Альберто. Италия. Чемпион Игр 1956 г. в гребле академической—выступал в четверке распашной с рулевым.

46. ВИНОКУРОВ Эдуард Теодорович. СССР. Входил в команду, выигравшую олимпийское первенство в фехтовании на саблях в 1968, 1976 гг. и занявшую 2-е место в Играх 1972 г.

47. ВИТТЕНБЕРГ Генри. США. Чемпион Игр 1948 г. по вольной борьбе в полутяжелом весе.

48. ВИТЦИРС Жаннет. Нидерланды. Чемпионка Игр 1948 г. в эстафетном беге 4 х 100 м.

49. ВОЛЬФГРАММ Михаэль. Германия. В 1976 г., выступая за ко-

манду гребцов ГДР на четверке парной без рулевого, стал олимпийским чемпионом.

50. ГАБОР Тамаш. Венгрия. Чемпион Игр 1964 г. в командном первестве по фехтованию на шпагах.

51. ГЕЙШТОР Леонид Григорьевич. СССР. Олимпийский чемпион 1960 г. по гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 м.

52. ГЕРДЕ Оскар. Венгрия. Участник команды-победительницы Игр 1908 и 1912 гг. по фехтованию на саблях.

53. ГЕРЛИЦ И. СНГ. Чемпионка Игр 1992 г. по волейболу.

54. ГЕСИНК Антон. Нидерланды. Чемпион Игр 1964 г. по дзюдо в открытой весовой категории.

55. ГОМБОШ Шандор. Венгрия. Чемпион Игр 1928 г. в командном первенстве по фехтованию на саблях.

56. ГОРДОН Эдуард. США. Чемпион Игр 1932 г. по прыжкам в длину—7,64 м.

57. ГОРОХОВСКАЯ Мария Кондратьевна. СССР. Абсолютная чемпионка Игр 1952 г. по гимнастике. Вторую золотую медаль завоевала в командном первенстве. Кроме того, завоевала на той же Олимпиаде четыре серебряные медали: в опорном прыжке, в упражнениях на брусьях, бревне и в вольных упражнениях, в командных упражнениях с предметом.

58. ГОРСКИЙ Марк. США. Чемпион Игр 1984 г. по велоспорту—в спринте на 1000 м.

59. ГРЮНИГ Эмиль. Швейцария. Олимпийский чемпион 1948 г. по стрельбе из винтовки произвольного образца на 300 м, 3 x 40 выстрелов.

60. ГРЮНФЕЛЬД Эрни. США. Чемпион Мгр 1976 г. по баскетолу.

61. ГУБЕЛМАН Уолтер. США. Чемпион Игр 1952 г. по парусному спорту.

62. ГУДЕРМАН Аленка. Югославия. Чемпионка Игр 1984 г. по гандболу.

63. ГУДУИН Лео. США. Участник команды по водному поло—победительницы Игр 1904 г.

64. ГУРЕВИЧ Борис Максович. СССР. Чемпион Игр 1952 г. по классической борьбе в легчайшем весе.

65. ГУРЕВИЧ Борис Михайлович. СССР. Чемпион Игр 1968 г. по вольной борьбе в 10м среднем весе.

66. ГЭЛИТЦЕН Майкл. США. Чемпион Игр 1932 г. в прыжках в воду с трамплина, серебряный призер в прыжках с вышки.
67. ДВОРАК Чарльз. США. Победил на Играх 1904 г. в прыжках с шестом с новым олимпийским рекордом—3,50 м.
68. ДЖЕФФИ Ирвинг.США. На зимних Олимпийских играх 1932 г. в Лейк-Плесиде выиграл две конькобежные дистанции—на 5000 и 10000 м.
69. ДЖУЛЭК Джордж. США. Гимнаст, чемпион Игр 1932 г. в упражнениях на кольцах.
70. ДИШИНГЕР Терри. США. Чемпион Игр 1960 г. по баскетболу.
71. ДУБРОВСКИЙ Борис Яковлевич. СССР. Олимпийский чемпион по академической гребле 1964 г. на двойке парной.
72. ДЬЕНГЕ Валерия. Венгрия.Чемпионка Игр 1952 г. в плавании на 400 м вольным стлем.
73. ДЬЯРМАТИ Дезе. Венгрия. Чемпион Игр 1952, 1956 и 1964 гг. по водному поло. На Олимпиаде 1964 г. завоевал бронзовую медаль.
74. ЖЕЛЕЗНЯК Яков Ильич. СССР. Олимпийский чемпион 1972 г. в стрельбе из малокалиберной винтовки по мишени «бегущий кабан». Победил с новым мировым рекордом.
75. ЗАСУЛЬСКАЯ Н. СНГ. Чемпионка Игр 1992 г. по баскетболу.
76. ЗИНГЕР Виктор Александрович. СССР. Вратарь хоккейной команды, выигравшей олимпийский турнир 1968 г.
77. ЗОРН Зэхери. США. Чемпион Игр 1968 г. по плаванию. Победил в эстафете 4 х 100 м вольным стилем.
78. ИЗРАЭЛЬС Исаак. Нидерланды. Победитель конкурса искусств на Олимпийских Играх 1928 г. в разделе «Живопись»—за картину «Красный всадник».
79. ЙОХУМ-БАЙЗЕР Труда. Австрия. Чемпионка зимних Олимпийских игр 1952 г. в скоростном спуске на лыжах.
80. КАБОШ Эндре. Венгрия. На Играх 1932 г. завоевал золотую медаль в составе команды саблистов и бронзовую в личном первенстве. На Играх 1936 г. был первым и в командном и в личном первенстве в фехтовании на саблях.

81. КАРПАТИ Дьердь. Венгрия. Чемпион Игр 1952, 1956 и 1964 гг. по водному поло. На Олимпиаде 1960 г. завоевал бронзовую медаль.
82. КАРПАТИ Карой. Венгрия. Борец легкого веса, победивший на Олимпиаде 1936 г.
83. КАРПАТИ Рудольф. Венгрия. Участник четырех Олимпиад, на которых завоевал шесть золотых медалей. На Играх 1956 и 1960 гг. выиграл 4 золотые медали по фехтованию на саблях в личном и командном первенстве. Еще две золотые награды получил в 1948 и 1952 гг. за победу в командном первенстве.
84. КАРПОНОСОВ Геннадий. СССР. Чемпион зимних Олимпийских игр 1980 г. в танцах на льду.
85. КАСТЕНМАН Петрус. Швеция. Чемпион Игр 1956 г. по конному спорту—личное первенство в троеборье.
86. КАЦ Элиас. Финляндия. Чемпион Игр 1924 г. в командном беге на 3000 м, завоевал еще и серебряную медаль на этой же Олимпиаде в беге на 3000 м с препятствиями.

87. КЕЛЕТИ Агнеш. Венгрия. Чемпионка Игр 1952 г.по гимнастике—вольные упражнения. Входила в команду Венгрии, занявшую второе место в турнире Олимпиады 1952 г. в упражнениях на брусьях и в командных упражнениях с предметом. На Играх в 1956 г. завовала 4 золотые медали—в упражнениях на брусьях, бревне,а так же в вольных и в командных упражнениях с предметом.
88. КЕЛЛЕНБЕРГЕР Эмиль. Швейцария. Завоевал 10-е место в составе команды на Олимпиаде 1900 г. в стрельбе из произвольной армейской винтовки на 300 м лежа, с колена и стоя. Еще одну золотую медаль получил за победу в личном первенстве в той же дисциплине.
89. КЕРТЕС Алиса. Входила в команду гимнасток, завоевавшую первенство на Играх 1956 г. в упражнениях с предметом.
90. КИРШЕНШТЕЙН-ШЕВИНЬСКА Ирена. Польша. Выдающаяся легкоатлетка. Участвовала в четырех Олимпиадах, завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Победила на Играх 1964 г. в эстафете 4 Х 100 м, 1968 г.—в беге на 200 м, установив новый мировой рекорд, и в 1976 г.—в беге на 400 м. На Олимпиаде 1964 г. была второй в беге на 200 м и в прыжках в длину. Третье место заняла на Олимпиаде 1968 г. в беге на 100 м и 1972 г.—на 200 м.
91. КЛАРК Луис. США. ПОбедитель Игр 1924 г. в легкоатлетической

эстафете 4 x 100 м.
92. КЛИМ Ромуальд Иосифович. СССР. Чемпион Игр 1964 г. в метании молота. Установил новый олимпийский рекорд. На Играх 1968 г. завоевал серебряную медаль.
93. КОК Ада. Нидерланды. Победила на Олимпиаде 1968 г. в плавании на 200 м. батерфляем.
94. КОПЛЕНД Лилиан. США. Победила на Играх 1932 г. в метании диска среди женщин с новым мировым рекордом—40,58 м.
95. КОУЧМЭН Элис. США. Чемпионка Игр 1948 г. в прыжках в высоту. Установила новый олимпийский рекорд.
96. КРИСС Григорий Яковлевич. СССР. Чемпион Олимпиады 1964 г. в личном первенстве по фехтованию на шпагах. В 1968 г. завоевал две серебряные медали—в личном и командном первенстве.
97. КУЧЕВСКИЙ Альфред Иосифович. СССР. Защитник хоккейной команды, выигравшей олимпийский турнир 1956 г. На зимней Олимпиаде 1960 г. получил серебряную медаль.
98.ЛАПИНСКИЙ Евгений Валентинович. СССР. Чемпион Игр 1968 г. по волейболу. Бронзовый призер Олимпиады 1972 г.
99. ЛЕЙН Альфред. США. Чемпион Олимпиады 1920 г. в командном первенстве в стрельбе из пистолета-револьвера одиночным выстрелом на 50 м и на 30 м.
100. ЛИПМАН Александр. Франция. Известный фехтовальщик, участник трех Олимпиад. На Играх 1908 г. завоевал в фехтовании на шпагах золотую медаль в командном первенстве и серебряную—в личном. На Играх 1920 г.—серебряную в личном первенстве и бронзовую в командном.
101. МАЙЕР Михай. Венгрия. Чемпион Игр 1952 и 1956 гг. по водному поло.
102. МАНКИН Валентин Григорьевич. СССР. Трехкратный олимпийский чемпион по парусному спорту: на Играх 1968 г.,выиграв в гонке яхт класс «Финн»; на Олимпиаде 1972 г. победил в гонках судов класса «Темпест». В том же классе получил серебряную медаль на Олимпиаде 1976 г. В 1980 г. победил в классе «Звездный».
103. МАНТЕЙФЕЛЬ Фриц. Германия. Чемпион Игр 1896 г. в командных упражнениях гимнастов на брусьях и перекладине.
104. МАРКОВИЧ Кальман. Венгрия. Чемпион Игр 1952 и 1956 гг. по водному поло.

105. МЕЛЬНИК Фаина Григорьевна. СССР. Чемпионка Игр 1972 года в метании диска. Победила с новым олимпийским рекордом.

106. МИДЛЕР Марк Петрович. СССР. Чемпион Игр 1960 и 1964 гг. в командном первенстве по фехтованиию на рапирах.

107. МИЛЛЕР Дэвид. Канада. Чемпион зимних Олимпийских игр 1952 г. по хоккею.

108. МИНЕВСКИЙ А. СНГ. Чемпион Игр 1992 г. по гандболу.

109. МИНХ И. СНГ. Чемпионка Игр 1992 г. по баскетболу.

110. МИХАЭЛЬСОН Юн. Швеция. Чемпион Игр 1948 и 1952 гг. в спортивной ходьбе на 10 км. Оба раза установил новый олимпийский рекорд.

111. МОЗЕР Ханс. Швейцария. Чемпион Игр 1948 г. по конному спорту, личное первенство в выездке.

112. МОНДЗОЛЕВСКИЙ Георгий Григорьевич. СССР. Чемпион Игр 1964 и 1968 гг. по волейболу.

113. МОСБЕРГ Сэмюэль. США. Боксер легкого веса—чемпион Игр 1920 г.

114. НЕККЕРМАН Иосиф. Германия. Занял 1-е место в командном первенстве по выездке на Играх 1964 и 1968 гг. В личном первенстве завоевал в 1968 г. серебряную медаль, в 1972 г.—бронзовую.

115. НЕТТЕР Клод. Франция. Завоевал золотую медаль в командном первенстве по фехтованию на рапирах в Играх 1952 г.

116. НИФЛО Исаак. США. Борец вольного стиля. Победил на Играх 1904 г. в полулегком весе.

117. НОЙМАН Пауль. Австрия. Чемпион Игр 1896 г. в плавании вольным стилем на дистанции 500 м—8.12,6.

118. НЬЮТОН Альберт. США. В составе команды завоевал золотую медаль в беге на 4 мили на Играх 1904 г.

119. ОРБАН Арпад. Венгрия. Чемпион Игр 1964 г. по футболу.

120. ОСИПОВИЧ Альбина. США. Чемпионка Игр 1928 г. в плавании на 100 м вольным стилем (1.11,0—новый олимпийский рекорд) и в эстафете 4x100 вольным стилем.

121. ОСТЕРМЕЙЕР Мишлин. Франция. Двукратная чемпионка Игр 1948 г. в толкании ядра с новым олимпийским рекордом и в метании диска. На этих же Играх завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту.

122. ОХМАН Арне. Швеция. Чемпион Игр 1948 г. в тройном прыжке.

123. ПЕРЕЛЬМАН Михаил Романович. СССР. Входил в команду гимнастов, выигравшую олимпийское первенство в 1952 г.
124. ПЕТЧАУЭР Аттила. Венгрия. На Играх 1928 года в фехтовании на саблях завоевал золотую медаль в командном первенстве.
125. ПЛАНК-САБО Херма.Австрия. На зимних Олимпийских Играх 1924 г. в Шамони стала победительницей в фигурном катании на коньках.
126. ПЛЮМБ Михаэль. США. Чемпион Игр 1984 г. в конном троеборье.
127. ПРЕСС Ирина Натановна. СССР. Завоевала две золотые олимпийские медали в легкоатлетических состязаниях: в 1960 г. победила в барьерном беге на 80 м, установив в полуфинале новый олимпийский рекорд, в 1964 г. выиграла соревнования по пятиборью, установив новый мировой рекорд.
128. ПРЕСС Тамара Натановна. СССР. Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике: завоевала золотые награды в сорвнованиях по толканию ядра в 1960 г., метанию диска и толканию ядра в 1964 г. Все победы одержала с новыми олимпийскими рекордами. На Играх в 1960г. получила серебряную медаль в метании диска.
129. ПРИНСТЕЙН Майер. США.Победитель Игр 1900 г. в тройном прыжке—14,47 м—новый олимпийский рекорд. На этой же Олимпиаде завоевал серебряную медаль в прыжках в длину (7,125 м). На Играх 1904 г. выиграл две золотые медали за прыжки в длину (7,34 —новый олимпийский рекорд) и тройным (14,325 м.), а также занял пятые места в беге на 60 и 400 м.
130. ПРОКТОР Генри. США. Чемпион Игр 1952 г. в гребле на восьмерке.
131. ПУНКИН Яков Григорьевич. СССР. Чемпион Игр 1952 г. по классической борьбе в легком весе.
132. РАЗИНСКИЙ Борис Давидович. СССР. Вратарь футбольной команды СССР, ставшей чемпионом Игр 1956 г.
133. РАКИТА Марк Семенович. СССР. Входил в команду, выигравшую олимпийское первенство в 1964 и 1968 гг. по фехтованию на саблях. На Играх 1968 г. завоевал серебряную медаль в личном первенстве.
134. РЕРИХ Стивен. США. Двукратный чемпион Игр 1968 г. по плаванию. Победил в эстафете 4 х 100 и 4 х 200 м вольным стилем.

135. РИМКУС Эдуард. США. Чемпион Игр 1948 г. по бобслею в четырехместных санях.

136. РОЗЕНФЕЛЬД Фанни. Канада. Чемпионка Игр 1928 г. в эстафете 4 х 100м, в финале которой канадская команда установила новый мировой рекорд.В беге на 100 м завоевала серебряную медаль.

137.РОЙШ Михаэль. Швейцария. Чемпион Игр 1948 г. по гимнастике—в упражнениях на брусьях.

138. РОКФЕЛЛЕР Джеймс. США. Чемпион Игр 1924 г. в гребле на восьмерках.

139. РОТМАН Леон. Румыния. Чемпион Игр 1956 г. в гребле на каноэ-одиночке на дистанциях 1000 и 10000 м.

140. САЛЬМОН Гастон. Бельгия. Чемпион Игр 1912 г. в командном первенстве по фехтованию на шпагах.

141. СГЕЙЦ Романо. Италия. Завоевал золотую медаль на Играх 1956 г. в гребле на четверке рспашной с рулевым.

142. СЕЙФЕРТ Армин. США. Чемпион Игр 1956 г. в гребле академической – двойка распашная с рулевым.

143. СЕКЕЙ Эва. Венгрия. Чемпионка Игр 1952 г. в плавании брассом на 200 м. Установила новый олимпийский рекорд.

144. СЛЁТТВИН Симон. Норвегия. Чемпион зимних Олимпийских игр 1952 г. по северному двоеборью.

145. СПЕЛМЭН Фрэнк. США. Чемпион Игр 1948 г. по тяжелой атлетике в полусреднем весе. Победил с новым олимпийским рекордом в троеборье.

146. СПИТЦ Марк. США. Выдающийся пловец. Единственный спортсмен за всю историю Олимпийских игр, завоевавший на одних Играх 7 золотых медалей и установивший при этом 7 мировых рекордов. На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 г. победил на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, 100 и 200 м баттерфляем, и в эстафетах 4х400 и 4х200 м. вольным стилем, в комбинированной 4х400.

147. СТАНЧИК Стэнли. США. Чемпион Игр 1948 г. по тяжелой атлетике в среднем весе. Победил с новым олимпийским рекордом в троеборье. На Олимпиаде 1952 г. завоевал серебряную медаль.

148. СТЕЙНКРАУС Уильям. США. Чемпион Игр 1968 г. по конному спорту, личное первенство в преодолении препятствий.

149. ТЕМЕШ Юдит. Венгрия. Стала чемпионкой по плаванию на играх 1952 г. в составе эстафетной команды на дистанции 4х100 м

вольным стилем.
150. ТЭРНЕР Дэвид. США. Чемпион Игр 1948 г. по гребле на восьмерке.

151. ТЭРНЕР Ян. США. Чемпион Игр 1948 г. в гребле на восьмерке.
152. УИЧМЭН Шэрон. США. Чемпионка Игр 1968 г. в плавании брассом на 200 м.
153. УЙЛАКИ-РЕЙТЕ Ильдико. Венгрия. Чемпионка Игр 1964 г. в личном и командном первенстве по фехтованию на рапирах. На Играх 1968 г. завоевала золотую медаль в командном первенстве и бронзовую—в личном.
154. ФАБИАН Дежё. Венгрия. Чемпион Игр 1952 г. по водному поло.
155. ФАБИАН Ласло. Венгрия. Чемпион Игр 1956 г. в гребле на байдарке-двойке на дистанции 10000м.
156. ФАЛЬК Хильдегард. Германия. Чемпион Игр 1972 г. в беге на 800 м.
157. ФАТЕР Карой. Венгрия. Чемпион Игр 1968 г. по футболу.
158. ФИКАЙЗЕН Отто. Германия. Победил в гребле на четверке с рулевым на Олимпиаде 1912 г.
159. ФИШЕР Хью. Канада. Чемпион Игр 1984 г. в гребле на байдарке-двойке на дистанции 1000 м.
160. ФИШЕР Морис. На Играх 1920 г. завоевал золотые медали в личном и командном первенстве в стрельбе из произвольной армейской винтовки на 300 м, 3 х 40 стоя, с колена, лежа. Кроме этого, получл золотую награду за стрельбу в составе команды из произвольной армейской винтовки лежа. На Играх 1924 г. завоевал две золотые медали в стрельбе из винтовки на 400—800 м в командном и личном первенстве.
161. ФЛАТОВ Альфред. Германия. На Играх 1 Олимпиады 1896 г. завоевал 3 золотые медали в гимнастике—в личном и командном первенстве на брусьях и в командном—на перекладине. Серебряную медаль получил в личном первенстве на перекладине.
162. ФЛАТОВ Феликс. Германия. На Играх 1896 г. завоевал две золотые медали в командном первенстве в упражнениях на брусьях и перекладине.
163. ФЛЕЙШМАН Торренс. США. Чемпион Игр 1984 г. в конном троеборье.

164. ФРАЙБЕРГЕР Маркус. США. Чемпион Игр 1952 г. по баскетболу.

165. ФУКС Ене. Венгрия. На Играх 1908 и 1912 гг. завоевал четыре золотые медали в фехтовании на саблях—две в командном и две—в личном первенстве.

166. ФЮНКЕНХАУЗЕР Зита. Германия. Чемпионка Игр 1984 г. в командном первенстве на рапирах.

167. ХААС Ханс. Австрия. Штангист легкого веса, завоевавший на Играх 1928 г. золотую медаль с результатом 322,5 кг.

168. ХАЙДЕН Эрик. США. На зимних Олимпийских играх 1980 г. завоевал 5 золотых медалей, в скоростном беге на коньках выиграл все дистанции: 500, 100, 1500 и 5000 м с новыми олимпийскими рекордами, а 10000—с новым мировым рекордом.

169. ХАЙОШ Альфред. Венгрия. Настоящая фамилия—Гуттман. Хайош—был его спортивным псевдонимом, под которым он выступал в соревнованиях. Позднее он окончательно переменил фамилию. Первый олимпийский чемпион по плаванию. На Играх 1896 г. завоевал две золотые медали—на дистанциях 100 м вольным стилем—1.22,2 и 1200 м вольным стилем—18.22,2. Позднее стал известным архитектором. В основном занимался проектированием спортивных сооружений. На Олимпийских играх 1924 г. получил серебряную медаль на конкурсе искусств по разделу архитектура за проект стадиона. Автор проекта знаменитого Непштадиона в Будапеште.

170. ХАММЕРЛЬ Ласло. Венгрия. Чемпион Игр 1964 г. в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 м лежа.

171. ХЕЙДЕНРЕЙХ Джерри. США. Двукратный чемпион Игр 1972 г. по плаванию. Победил в эстафете 4 х 100 м вольным стилем и в комбинированной эстафете 4х100 м.

172. ХЕС Михай. Венгрия. Чемпион Игр 1968 г. в гребле на байдарке на дистанцию 1000 м.

173. ХЕССЕР Дэвид. США. Игрок команды ватерполистов—победительницы Игр 1904 г.

174. ХУБАХЕР Эдди. Швейцария. Чемпион зимних Олимпийских игр 1972 г. по бобслею в четырехместных санях.

175. ЦИММЕРМАН Эгон. Австрия. Чемпион зимних Олимпийских

игр 1964 г. по горнолыжному спорту—скоростной спуск.
176. ЧАК Ибоя. Венгрия. Победила в прыжках в высоту с результатом 1,60 м на Играх 1936 г.
177. ШВАЙБОВИЧ Е. СНГ. Чемпионка Игр 1992 г. по баскетболу.
178. ШВАРЦЕНБЕРГЕР Ильдико. Венгрия. Чемпионка Игр 1976 г. по фехтованию на рапирах в личном первенстве. В командном первенстве получила бронзовую медаль.
179. ШЕЙКСПИР Фрэнклин. США. Чемпионка Игр 1952 г. в гребле на восьмерке.
180. ШЕМАНСКИ Норберт. США. Чемпион Игр 1952 г. по тяжелой атлетике в полутяжелом весе. Установил новые мировые и олимпийские рекорды в троеборье, рывке и толчке. На Олимпиадах 1960 и 1964 гг. завоевал бронзовые медали в тяжелом весе.
181. ШЕНКЕР Золтан. Венгрия. Участник двух Олимпиад. На Играх 1912 г. завоевал золотую медаль в составе команды по фехтованию на саблях. На играх 1924 г.—серебряную медаль в составе команды саблистов и бронзовую—в составе команды рапиристов.
182. ШЁДЕЛИУС Све-Олоф. Швеция. Чемпион Игр 1960 и 1964 гг. в гребле на байдарке-двойке на дистанции 1000 м.
183. ШИРМЕР Эйстери. Норвегия. На Играх 1912 г. завоевал золотую медаль в командном первенстве по гимнастике.
184. ШМАЛЬ Феликс. Австрия. На Играх 1896 г. получил золотую медаль в 12-часовой велосипедной гонке. Еще две бронзовые награды завоевал в гите с места и в гонке на 1000 м.
185. ШМИДТ Юзеф. Польша. Двукратный олимпийский чемпион—1960 и 1964 в тройном прыжке. Оба раза установил новый олимпийский рекорд.
186. ШОУ Джон. Австралия. Чемпион Игр 1972 г. по парусному спорту в классе «Дракон».
187. ШТАЛЬМАН Риа. Нидерланды. Чемпионка Игр 1984 г. в метании диска.
188. ШТАМБАХЕР Франтишек. Чехословакия. Чемпион Игр 1980 г. по футболу.
189. ШТЕРН Жан. Франция. На Играх 1908 г. в командном первенстве по фехтованию на шпагах завоевал золотую медаль.
190. ШТРЕССЕРБЕРГ Йозеф. Германия. Чемпион Игр 1928 г. среди штангистов тяжелого веса—372,5 кг. На Играх 1932 г. завоевал брон-

зовую медаль, улучшив свое достижение на 5 кг.
191. ШТУКЕЛЬ Леон. Югославия. Абсолютный чемпион по гимнастике Игр 1924 г. Вторую золотую медаль получил в упражнениях на перекладине. На Играх 1928 г. завоевал бронзовые медали в командном первенстве и в многоборье и золотую—в упражнениях на кольцах.
192. ШУЛЬТЦ Дэвид. США. Чемпион Игр 1984 г. по вольной борьбе в весе до 74 кг.
193. ШУЛЬТЦ Марк. США. Чемпион Игр 1984 г. по вольной борьбе в весе до 82 кг.
194. ЭЛЕК Илона. Венгрия. Чемпионка Игр 1936 и 1948 гг. по фехтованию среди женщин.
195. ЭЙБЛОВИЧ Эдгар. США. Чемпион Игр 1932 г. в эстафете 4 x 400 м, в которой американская команда установила новый мировой рекорд.
196. ЭШУОРТ Джеральд. США. В составе команды победил на Играх 1964 г. в эстафете 4 x 100 м, где американцы установили новый мировой рекорд.
197. ЯНГ Шейла. США. Чемпионка зимних Олимпийских игр 1976 г. по скоростному бегу на коньках на дистанции 500 м

АРМЯНЕ—ЧЕМПИОНЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

ВАРАЗДАТ—армянский царь, чемпион сто первых олимпийских игр древности по кулачному бою.

1. АЗАРЯН Альберт. СССР. Олимпийский чемпион 1956 и 1960 гг. по гимнастике—упражнения на кольцах. Входил в команду, выигравшую олимпийское первенство в 1956 г. В 1960 г. получил серебряную медаль в командном первенстве.
2. АЗАРЯН Эдуард. СССР. Чемпион Игр 1980 г. по гимнастике в командном первенстве.
3. БУНАТЬЯНЦ Э. СНГ. Чемпионка Игр 1992 г. по баскетболу.
4. ВАРДАНЯН Юрик. СССР. Чемпион Игр 1980 г. по тяжелой атлетике в весе до 82,5 кг. Установил на Играх три мировых рекорда.

5. **ДЖУЛФАЛАКЯН Левон.** СССР. Чемпион Игр 1988 г. по классической борьбе в весе до 68 кг.

6. **ЕНГИБАРЯН Владимир.** СССР. Чемпион Игр 1956 г. по боксу в 1-м полусреднем весе.

7. **ИСКАНДАРЯН М.** СНГ. Чемпион Игр 1992 г. по греко-римской борьбе в весе до 74 кг.

8. **МИЛИТОСЯН Исраэл.** СССР. Чемпион Игр 1992 г. По тяжелой атлетике в весе до 67,5 кг.

9. **МИРЗОЯН Олег.** СССР. Чемпион Игр 1988 г. по тяжелой атлетике в весе до 56 кг. Установил три мировых рекорда.

10. **МКРТЧЯН Григорий.** СССР. Вратарь советской хоккейной команды, выигравшей зимние Олимпийские игры 1956 г.

12. **НАЛБАНДЯН Сурен.** СССР. Чемпион Игр 1976 г. по классической борьбе в 1-м полусреднем весе.

13. **ОГАНЕЗОВ Алберт. СССР. Игрок сборной по гандболу, выигравшей олимпийский турнир 1976 г.**

14. **НУРИКЯН Норайр.** Болгария. Штангист. Чемпион Игр 1972 г. в полулегком весе и в 1976 г. в легчайшем.

15. **ОГАНИСЯН Санасар.** СССР. Чемпион Игр 1980 г. по вольной борьбе в весе до 90 кг.

16. **ПЕТИКЯН Г.** СНГ. Чемпион Игр 1992 г. по стрельбе в малокалиберном стандарте.

17. **ПОГОСОВ Г.** СНГ. Чемпион Игр 1992 г. в командном первенстве в фехтовании на сабле.

18. **СИМОНЯН Никита. СССР. Чемпион Игр 1956 г. по футболу.**

19. **ЧИМИШКЯН Рафаэл.** СССР. Чемпион Игр 1952 г. по тяжелой атлетике в полулегком весе. Победил с новым мировым рекордом в троеборье. В рывке и толчке установил новые олимпийските рекорды.

20. **ШАГИНЯН Грант.** СССР. На Олимпиаде 1952 г. победил в упражнениях на кольцах. Входил в команду гимнастов, выигравшую олимпийское первенство в 1952 г. Там же, в Хельсинки, завоевал 2 серебряные медали—в многоборье и упражнениях на коне.

Андрей ЛЕРНЕР (Москва)

ДЕТИ ЗВЕЗДЫ

БАР-КОХБА

Случалось ли вам получать письма из Израиля? Иногда марка на конверте говорит больше, чем само письмо. Вот эта, с изображением Симона Бар-Кохбы, удостоилась даже стихотворения Давида Сэтера, которое так и называется—«Почтовая марка».

И пламя тех костров светило ярко
Во тьме веков, сквозь их снега и льды.
Вам новый свет с простой почтовой маркой
Внёс почтальон: Бар-Кохба, Сын Звезды!

Прислал нам весть. Горит она живая,
И жить зовет. Она не просто весть,
Какую ждем мы, письма открывая,
И забываем, не успев прочесть.

Кто же он, таинственный воин, вложивший в лук стрелу?

...Сто тридцатый год новой эры. Римский император Адриан с пышной свитой въезжает в Иерусалим. Золотые колесницы, пурпурные плащи, тяжелая поступь легионеров. Император восхищен городом, холмами, оливковыми рощами, он объявляет, что Иерусалим, пострадавший от войн, будет отстроен под его собственным наблюдением. Но вскоре радость жителей сменяется ужасом: император возводит на священных холмах ипподромы и конюшни, он приказывает разрушить синагоги и строить на их месте капища, он под страхом смерти запрещает иудаизм и казнит иудеев.

Адриан доволен. На его глазах дивный город превращается в римское захолустье. Он ставит последнюю точку—переименовывает Иерусалим в Элия Капитолина и безмятежно отбывает в Ри...

Адриан доволен. На его глазах дивный город превращается в римское захолустье. Он ставит последнюю точку—переименовывает Иерусалим в Элиа Капитолина и безмятежно отбывает в Рим.

И тут появляется Бар-Кохба (арам. «сын звезды»). Со своим отрядом он, как ветер, налетает из пустыни на римские гарнизоны и снова исчезает в песках. Его армия растет. Вот он господствует уже в Иудейских горах, заняв крепости. Рим шлет в Иудею легионы, но их ждет гибель в ущельях и песках. В 132 году Бар-Кохба входит в Иерусалим. Израиль освобожден!

Бар-Кохба становится правителем. Он чеканит собственные монеты, их можно увидеть на марках Израиля 1948 года. Он правит страной так вдохновенно и мудро, что люди задумываются: уж не Мессия ли он?

Увы! Книга скорби еще не дочитана... Рим, весь западный мир мобилизует силы против маленькой Иудеи. Весь римский флот стремится к израильскому побережью, спешат войска из Британии, Испании, Галлии, Египта, Сирии.

Сто тридцать пятый год. Горная крепость Бетар—последний оплот мятежного Бар-Кохбы. На стенах осталось лишь двадцать защитников, изнемогающих от жажды, ран и болезней. Что с ними стало? Здесь кончаются факты и начинаются легенды. Одна гласит, что защитники пронзили себя мечами; другая—что Бар-Кохба погиб от укуса змеи, посланной ему во спасение от плена.

Так закончилась последняя война древнего Израиля.

АННА ФРАНК

«Убежище»—так автор назвал свой роман. Он задумал его в четырнадцать лет, а в пятнадцать—погиб в концлагере Берген-Бельзен. Автора звали Анна Франк. И все же первое голландское издание ее дневника вышло под названием «Убежище».

Обычно Дневник считают литературным памятником жертвам Катастрофы. Но он—не литература и не памятник. Дневник—это пророчество, голос которого еще не услышан миром. Этот голос, один из шести миллионов, часто ослабевал, но никогда не исчезал.

Когда Вы сидите в уютном кресле перед камином, время Дневника может быть не пришло. Но в прокуренную теплушку, уносящую Вас от воя озверевшей толпы и звона разбитых стекол, возьмите с собой только две книги—Библию и Дневник.

Я бы порекомендовал дневник не только гонимым, но и гонителям, когда бы не евангельская фраза: «Не мечите бисера вашего перед свиньями».

Передо мной две почтовые марки, посвященные Анне Франк. Одна вышла в Израиле, другая в ФРГ. Первая страна родила Анну, вторая—убила. Для первой это скорбь, для второй—покаяние. Может быть поэтому и марки так не похожи друг на друга. Израильская марка—это надгробье Анны Франк. Немецкая—это живая Анна. И только имя, написанное будто кровью, напоминает о трагедии.

На израильской марке—само убежище. Глухой двор в центре Амстердама, тесный чердак, здесь в трех тайных комнатах Анна прожила с 1942 по 1945 год вместе с семью другими беглецами. Они забыли, что такое дневной свет и уличный шум. Лишь в безлунные ночи решались они открыть чердак и выйти на крышу. В их дом приходили гестаповцы, но не догадались отодвинуть шкаф, закрывающий потайную дверь. Что же владело узниками? Очевидно удушающий страх и тоска? Но откроем Дневник.

«Мы были в восторге от этой истории и хохотали от души!»

«Отец открыл шкаф и все закричали: “Ах, как красиво! ”»

«“Весеннее лето” я прочла четыре раза и в смешных местах опять хохочу!»

Уж не забыла ли Анна, что идет война? Нет, она думает о войне, похоже, даже знает причину всех войн на свете: «Не верю, что в войне виноваты только правительства. И маленькие люди очевидно тоже виноваты. Очевидно в человеке заложен инстинкт уничтожения, заложена страсть убивать, резать, буйствовать, и пока все человечество не изменится, войны будут продолжаться.»

И все же обостренное чувство наслаждения жизнью переполняет ее.

«Когда я смотрела и ощущала присутствие Бога, я была счастлива, по-настоящему счастлива.»

«Мне виден кусок синего неба, каштан, на котором блестят капельки росы, чайки—они кажутся серебряными в полете.»

«Нельзя быть счастливой оттого, что кому-то еще хуже, чем тебе. Мама советует: “Думайте о том, сколько на свете горя и будьте благодарны, что вам этого переживать не приходится.” А я советую другое: думай о том прекрасном, что творится в твоей душе и вокруг тебя и будь счастлив.»

Читая это, невольно думаешь—а понимает ли девочка, что ей угрожает?

«Этой ночью я действительно думала, что умру. Я ждала полицию и была готова к смерти.»

Готова к смерти... Многие ли из нас могут сказать так о себе?

«Пока в нас живет это счастье видеть природу, ощущать силу и еще много, много хорошего, пока носишь это чувство в себе,—ты всегда будешь счастлив, всегда!»

Не та ли это мудрая радость хасидов, что не оставляет человека и перед смертью? Голландская антифашистка Де Вик видела Анну уже в концлагере: «Глаза Анны сияли... У нее были такие свободные движения, такой открытый взгляд, что я говорила себе: “Да ведь она счастлива здесь!”» Но Анна не святая, она просто девочка, еврейская девочка.

«Кто наложил на нас эту ношу? Кто отметил нас, евреев, среди других народов? Бог сотворил нас такими и Бог нас спасет. И если мы вынесем все страдания и все-таки останемся евреями, то может быть из обреченного народа станем примером для всех. Кто знает, может быть, когда-нибудь наша вера научит добру людей во всем мире. Для этого, только для этого мы должны страдать.»



Наталья АБРАМЯН (Ереван)

«ПРОБЛЕМА ЕВРОПЕЙСТВА»

Такова была тема научного семинара, который 30 июня 1993 года провели в ереванском доме-музее Арама Хачатуряна центр культурных и экономических инициатив «Шем »(«Порог») и клуб «Арестаноц»(«Мастерская»).

Как видим, не только в искусстве есть вечные темы, но и в обществоведении. Иначе чем объяснить, что некоторые вопросы вновь и вновь возвращаются, хотя иногда кажутся решенными? Проходит время, изменяется политическая ситуация, и прежние ответы кажутся неубедительными. Одним из «вечных» вопросов для Армении (и не только для нее) является самоопределение по отношению к полюсам мировой цивилизации—Европе и Азии.

Узел проблем, достаточно острых для национального самоосознания, сущетвовал издревле, временами приобретая особую актуальность. Кто мы? Азиаты (по-блоковски—«скифы... с раскосыми и жадными очами») или европейцы на свой, особый лад? К культуре какого типа тяготеем? К какому типу отнести наш этнос во всевозможных его проявлениях? Какие социальные инстинкты нам показаны, какие решительно противопоказаны? Список вопросов можно продлить, но и так ясно, что они представляют для нас не только теоретический интерес, но важны и для нашего самоосознания, и для выработки ориентиров внешней политики, и для определения типа государственного устройства, и для идеалов культурного, даже духовного развития.

Самопознание дается нелегко— и индивидууму и нации. Если это самопознание хоть немного рационалистично, оно испытывает нужду в концептуальном аппарате, инструментарии описания. Разрешению этой сложнейшей задачи посвятил свой доклад доктор философских наук Эдуард АТАЯН. В нем разработана единая система принципов-потенций (очень абстрактных, но зато и универсальных), различные сочетания которых образуют состав «народной души». Различен может быть не только набор этих принципов, но и его общая характеристика: система

может пребывать в состоянии более или менее напряженной гармонии, либо быть односторонне-ассиметричной. Армения, по мнению АТАЯНА, являет пример равномерной, хотя и максимально напряженной «центральности»,—именно это отражено в метафоре «НАШ КРЕСТ», взятой как заглавие доклада.

Это методологически ориентированное сообщение во многих отношениях стоит особняком, не попадая ни под одну из двух рубрик, вокруг которых (весьма условно) можно сгруппировать все доклады и выступления, вопросы и реплики. Основные темы формулируются так: 1. Как мы представляем себе Европу и Азию (или Запад и Восток), какими параметрами их наделяем? 2. На какое место мы, армяне, помещаем себя в соотношении Восток-Запад?

Что касается нашей внутренней самооценки, то большинство ораторов склонялось к мнению о нашем европоцентризме—к тому, что мы относим себя преимущественно к Европе. Таков был основной тезис и в выступлении доктора исторических наук Карена ЮЗБАШЯНА. Несмотря на впечатляющий ряд азиатских черт, среди которых - среда зарождения и обитания этноса, внешность, тип семьи и семейных связей, отношение к власти (особый интерес, по мнению выступавшего, может представлять лингвистический и социально-психологический анализ понятия «паштон»—«должность»), армяне больше тяготеют к Европе. С первого раза, когда они оказались под властью европейской силы (Александр Македонский), армяне с готовностью восприняли европейскую культуру. Существенно и то, что хритианство, перестав быть сектой, проявило себя как учение западно-европейского типа. Так Европа утвердилась у нас. А с XII-XIV вв.(в частности усилиями мхитаристов) армяне утвердили себя в Европе. По мнению К.ЮЗБАШЯНА, европейского типа была и первая Республика (1918-1920); типично европейской выглядит и ныне разрабатываемая конституция Армении.

Последовавшее затем обсуждение выявило сторонников этой позиции (историк, какндидат наук Сергей АМИРЯН, индоевропеист, кандидат философских наук Цовинар АРУТЮНЯН) и дало возможность разработать ее глубже. Так, на базе этно-лингвистического исследования мифов Ц. АРУТЮНЯН пришла к выводу, что в мировосприятии армян изначально содержится все то, что унесла с прародины Европа, и все то, что унес

с той прародины арийский Восток (Индия, Иран). Вот почему проблема «Европа-Азия» никак не может быть для нас искусственной, извне навязанной: склоняясь то к Европе, то к Азии, то к Востоку, то к Западу, армяне несут в себе в зачаточном состоянии именно то, к развитым формам чего они естественно тяготеют. Передняя Азия, прародина европейцев, - в то же время есть прародина многих других языковых семей. Оставшиеся здесь армяне испокон веков соприкасались со множеством этнических типов, они генетически восприимчивы и к Европе, и к Азии. В этом докладе прозвучала и тема Греции, развитая другими выступавшими. Изучение Греции имеет для нас особый смысл. Армяно-греческие сопоставления бросают особый свет на их типологическую общность, часто проявляющуюся, несмотря на отсутствие общих границ, различие социально-политических условий и т.п.

Особую остроту привнесло выступление этнографа, кандидата наук Левона АБРАМЯНА, сместившее акцент о ситуации выбора между Западом и Востоком к совершенно иной постановке вопроса: как было подчеркнуто, специфика Армении—посредничество; хорошо бы нам разработать разные модели посредничества, не ограничивая себя только сферой торговли. Несмотря на издержки современной ситуации, не тупиком, а перекрестком пристало быть нашей стране, традиционно открытой различным наукам и ремеслам, языкам и культурам. Впрочем, непонятно, в чем собственно наша специфика, так как после распада СССР многие республики стали претендовать на эту роль—от Прибалтики до Средней Азии (на каком основании—другой вопрос). Много говорилось и о разных видах посредничества: научном, культурном, идейном, даже экономическом (Давид КАЗАРЯН). Особый интерес как для Республики Армения, так и для наших соседей, ближних и дальних, ныне представляет то, способствует или препятствует наша экономика развитию свободного хозяйствования.

Идея посредничества обсуждалась достаточно широко. По мнению Ара ГУРЗАДЯНА, Армении под силу преодолеть как западный рационализм, так и восточный иррационализм, и не механически, а синтетически. Было высказано мнение, что у Армении есть предпосылки для реализации связей между европейской и русской культурой (Самвел МАРТИРОСЯН).

Но ведь посредник—обязательно комментатор, толкователь, переводчик (в самом широком смысле), он непременно должен свободно владеть обоими языками, культурами, типами духовности. Между тем, диалог культур, согласно утверждению Ара НЕДОЛЯНА, остается лишь лозунгом, не превращаясь в явление повседневной жизни: нашему сближению с Европой мешает восприятие друг друга на уровне мифов. Вообще, «мы»—культура мифа, в этом наша сила и в этом наша слабость.

Говоря о радикальном различии «нас» и Европы, докладчик особо выделил такую характеристику, как восприятие времени. «Мы» даже не пытаемся установить контакт с сегодняшним днем Европы, подсознательно ощущая таящуюся в ее системе ценностей (особенно в феномене времени) опасность для себя.

Перевод в узком смысле слова, его воспитательное, образовательное, общекультурное значение для нас в настоящий момент был темой выступления искусствоведа Сергея ХАЧИКОГЛЯНА.

С сообщением о «третьем» пути, опыт которого может быть освоен Арменией—о евразийстве, выступила журналист Ирина БАДЯКИНА.

Большую значимость в контексте обсуждаемых проблем имеет вопрос о сущности христианства, об этом было сказано немало. нравственной сущности христианства, тому, как оно воспринималось и развивалось в Армении, посвятил свое выступление кандидат философских наук Ашот ВОСКАНЯН. Каково основание заповеди «Не убий»—слабость (страх быть убитым) или сила (ибо несомненным проявлением силы является выбор принципа ненасилия)? Этот вопрос всегда был и остается важнейшим для нас.

В связи с посреднической миссией интересен вопрос о границе—между Европой и Азией, между Западом и Востоком. Как заметил Левон АБРАМЯН, она не только относительна, но и подвижна—так, при шахе Аббасе граница между Европой и Азией сместилось к юго-востоку. На особо синкретический характер этих связей указывает и то, что Греция—эта alma mater европейской культуры, питалась истоками Малой Азии (Цовинар АРУТЮНЯН).

Своеобразный ракурс этой двойственности армян обнаруживается с позиций этнокультурности. Как удалось установить

кандидату философских наук Игорю БАРСЕГЯНУ, понятие «этнодисперсный» (в этих случаях наряду с компактной группой, населяющей историческую родину, существуют вкрапления и в другие этнические группы)

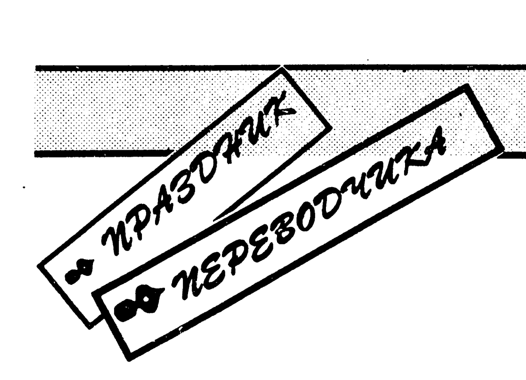
неприменимо к таким этносам, которые утратили историческую родину (например, цыгане) или имеют крупные, тоже компактно проживающие диаспоры, численность и роль которых сравнимы с исторической родиной. Такие нации (в том числе армян и евреев) он предложил называть диаспорическими. Между их происхождением (восточным) и западного типа ориентацией—специфически окрашенные взаимоотношения.

В основе суждений о нашей принадлежности/непринадлежности к Западу и Востоку лежат представления о Западе и Востоке. Этот вопрос тоже был в центре интересов собравшихся. Один из его аспектов, на мой взгляд, привлекательных и малоизученных, был затронут в выступлении К.ЮЗБАШЯНА: следует различать, сказал он, сознательное восприятие Запада и Востока от бессознательного.

Хорошо обдуманная попытка описать западный менталитет в противоположность не-европейскому была представлена кандидатом филологических наук Геворком ТЕР-ГАБРИЕЛЯНОМ. Европейская духовность, по его мнению, характеризуется через традицию, реализованную в ритуале; «старость»; государственность; гражданственность; особое отношение ко времени—гордость настоящим, связанная с ответственностью субъекта перед историей и его участия в ней. Для не-европейца время—это хаос мгновений, с неразличенностью прошлого, настоящего и будущего. Отсюда—своеобразная несвобода и специфика «личности», не могущей быть субъектом, сознающим свои обязанности. От человека таким образом ничего не зависит, он живет как бы в черновике, не набело.

Оценочные характеристики получили понятия Восток-Запад и в докладе архитектора Рубена АКОПЯНА; по его мнению открытия Востока заимствовались Западом мирно и цивилизованно, обратно же возвращались буквально «огнем и мечом» (порох).

Никто не ждет, конечно, что одна встреча, один семинар даст ответы на все эти вопросы. Но поставить их, обсудить, рязъяснить для общественного сознания—достойная задача.





Джон МИЛЬТОН

ЛИКИД

Этот перевод—противозаконный. Он не размером подлинника, он—свободным стихом. Подлинник—разностопный ямб, привычный в английском барокко. Перевод размером подлинника, сделанный Ю.Корнеевым, читатель найдет в однотомнике Мильтона в «Библиотеке всемирной литературы». Но когда Мильтон писал свою «монодию» на смерть молодого Эдварда Кинга, то одним этим термином он назвал образцы—Пиндара и Симонида. Он хотел писать, как они, эти зачинатели поэзии торжественного плача. А они писали не ямбами, но такими сложными размерами, которые при Мильтоне (да и после) воспринимались как свободный стих. И я попробовал перевести «Ликида» не так, как Мильтон его написал, а так, как он хотел бы его написать: без ямбов, но с той бережной точностью, которую дает переводчику только свободный стих.

Декорации «Ликида»—античные, пастушеские. Ликид, Дамет, Амариллида, Неэра—имена из буколик; сицилийская Аретуза (бежавшая от Алфея) и мантуанский Минций—реки, у которых родились Феокрит и Вергилий. Гиппотад—бог ветров Эол; Панопея—морская нимфа; над рекой Гебром вакханки растерзали Орфея, и голову его унесло к Лесбосу, острову поэтов. Кэм—речка, на которой стоит Кембридж, где учился Кинг; Мона—остров Мэн в Ирландском море; Дэва—речка Ди близ Честера; Гебриды—к северу от Ирландского моря, а Беллер с горой св. Михаила, глядящей

в сторону Бретани,—к югу от него. Галилейский кормчий—конечно св. Петр: стихи писались, когда уже сгущалась гроза пуританской революции. В этом предгрозье элегия Мильтона осталась почти незамеченной. Сейчас она считается одной из лучших страниц английской поэзии.

Переводчик.

ЛИКИД

В этой монодии сочинитель оплакивает ученого друга, несчастным образом утонувшего в плавании из Честера через Ирландское море в лето 1637. По сему случаю предсказывается конечное крушение развращенного клира, бывшего тогда в силе.

Вновь, о лавры,
Вновь, о темные мирты,
И ты, неопалимый плющ,
Я срываю плоды ваши терпкие и горькие
И негнущимися пальцами
До срока отрясаю вашу листву.
Едкая нужда,
Драгоценная мне скорбь
Не в пору гонит меня смять ваш рассвет:
Умер Ликид,
До полудня своего умер юный Ликид,
Умер, не оставив подобных себе,
И как мне о нем не петь?
Он сам был певец, он высокий строил стих,
Он не смеет уплыть на водном ложе своем,
Не оплаканный певучею слезою.

Начните же, сестры,
Чей источник звенит от Юпитерова трона,
Начните, скользните по гулким струнам!
Мнимо-уклончиво, женски-отговорчиво
Так да осенит удавшимся словом
Нежная Муза
Урну, назначенную и мне!
Пусть оглянется он в своем пути

И овеет миром черный мой покров,
Ибо вскормлены мы с ним на одном холме,
И одно у нас было стадо, и ручей, и сень, и ключ;
С ним вдвоем, когда вышние пажити
Открывались разомкнутым векам солнца,
Шли мы в поля и слышали вдвоем
Знойный рог кружащегося шмеля
И свежею росою нагуливали стада
Подчас до поры, когда вечернюю звезду
Взносил поворот убегающих небес,
А в сверленом стволе
Не молкли луговые напевы,
И сатир шел в пляс, и двухкопытный фавн
На ликующий тянулся звук,
И старик Дамет любил наши песни.

Но все уже не так. Тебя нет, тебя нет,
И больше не будет никогда.
О тебе пастухи, о тебе леса, о тебе
Опустелые пещеры, заросшие тимьяном и лозой,
Плачут глухими отголосками.
Ива и зеленый орешник
Больше твоим
Не повеют нежным песням радостными листьями.
Как розе тля,
Как ягненку на пастбище язвящий клещ,
Как мороз цветам в наряде их красы
Той порой, когда белеет боярышник,—
Такова, Ликид,
Пришлась пастухам твоя утрата.

Где были вы, нимфы, когда внемлющая глубь
Обомкнула любимого Ликида?
Не играли вы на той крутизне,
Где покоятся былые барды и друиды,
Ни на вздыбленных высях Моны,
Ни у Дэвы, плещущей вечной волной,
Но к чему мечта?
Разве были бы вы сильны помочь ему?
Нет,—как Муза, Орфеева мать,
Не сильна была чародеющему сыну,
В час вселенского плача природы,
Когда с черным ревом неистовый сонм

Бросил вплавь окровавленный его лик
Вниз по Гебру и к Лесбийскому берегу.

Зачем он неутолимо
Правил пастушью свою недолю,
Острый ум устремляя к нещедрым Музам,
А не так, как все,
Под сенью резвился с Амариллидой
Или с прядями кудрей Неэры?
Слава,
Последняя слабость возвышенного ума,
Шпорит ввысь благородный дух
От услад к трудам,
Но когда уже светлая награда впереди
Ждет взорваться стремительным сиянием,—
Слепая Фурия постылым резаком
Рассекает тонкую пряжу жизни.

Но нет—
(Это Феб звучит в трепетном слухе моем)—
Слава—цветок не для смертных почв:
Не в мишуре идет она в мир, не в молве она стелется вширь,
А живет в выси
В знаке ясных очей всерассудного Юпитера,
И каков его последний обо всем приговор,
Такова и слава ждет тебя в небесной мзде.

Верь, чтимая Аретуза,
И тихий Минций в венце певчих тростников:
Это высочайшая прозвенела мне струна.
Но дальше, моя свирель!
Вот морской трубач предстал во имя Нептуново
Вопросить волны, вопросить преступные ветры:
Что за невзгода
Нежному была погибелью пастуху?
И каждый из крутокрылых,
Дующих с каждого острия суши,
Ответил ему: «Не знаем!»
Мудрый Гиппотад
Принес их ответ, что ни единый порыв
Не вырвался из его узилища,
Что тих был воздух,

С сестрами играла на кромке песка.
Это челн,
Роковой и вероломный,
В час затменья сколоченный, черными проклятьями снащенный,
В бездну погрузил священное твое чело.

Следом медленной стопой протекает чтимый Кэм,
Плащ его космат, из осоки его колпак,
Смутные образы на нем, а по краям
Выписана скорбь, как на том кровавом цветке:
«Кто отнял,—воззвал он,—лучшую надежду мою?»
И последним шел и пришел
Галилейский кормчий,
Ключарь о двух мощных ключах,—
(Отворяет золотой, затворяет железный)—
Он сотряс свои увенчанные кудри,
Он сказал:
«Рад бы я сберечь тебе юного
Видя тех, кто чрева ради вкрадывается в стадо,
Кто рвется к пиру стригущих,
Оттирая званых и достойных,
Чьи губы слепы,
Кто не знает ни держать пастуший посох,
Ни иного, кто довлеет верному пастырю!
Что нужды им и до чего нужда им?
Песни их, скудные и нарядные,
Чуть скребутся сквозь кривые их свирели,
Овцы их, голодные, смотрят в небо,
Пухнут от ветра и гнилого тумана,
И зараза, выедая их, расходится вширь,
А черный волк о скрытых когтях
Походя поджирает их день за днем,
И двурукое орудие у двери
Готово разить, но никого не разит!»

Воротись, Алфей,
Грозный глас, претивший тебе, умолк.
Воротись, сицилийская Муза:
Воззови к равнинам, и пусть они принесут
Цветы в стоцветных венчиках лепестков.
Вы, низины, нежным полные шопотом
Листьев, непутевых ветров, льющихся ручьев,

Свежих, редко зримых смуглой звезде,—
Бросьте сюда
Ваши очи, яркие, как финифть,
Из зеленой травы пьющие медовый дождь,
Вешним цветом обагряющие землю:
Торопливый первоцвет, умирающий забытым,
Хохлатый лютик и бледный ясмин,
Белую гвоздику и сияющую фиалку,
В черной ряби анютиных глазок,
Душистую розу и нарядную жимолость,
Томные буквицы с поникшей головой,
Каждый цветок в своем пестром трауре.
Пусть померкнет амарант,
Пусть наполнится слезами нарцисс,
Устилая лавровое ложе Ликида,
Пока тщетная наша мысль
Меж неверных отдыхает догадок:
Где прах твой,
Дальними омываемый морями, гремящими в берега?
У бурных ли Гебрид
В обымающей волне
Нисшел ты к глубинным чудам,
Спишь ли, неподвластный слезным зовам,
Под древним сказочным Беллером,
Где мощный лик с хранимой им горы
Взирает туда, где Наманка и Байонна?
О архангел, оборотись и тронься!
О дельфины, вынесите злополучного на свет!

Не плачьте, скорбные пастыри, не плачьте
Он не умер, Ликид, наша горесть,
Он скрылся под гладью вод,
Как солнце скрывается в океане,
Чтобы вскинуть вновь поникшую голову,
Просветлеть лучами и в новом золоте
Запылать на челе заревых небес,—
Так и Ликид
Доброй мощью Идущего по волнам,
Опустясь на дно, вознесся в ту высь,
Где иные рощи, иные реки,
Где чистый нектар смоет ил с его кудрей
И невыразимо зазвучит ему брачная песнь
Во блаженном царстве радости и любви.
Там приветил его чтимый строй угодников,

Там певучие сонмы движутся во славе своей,
И в очах навек высыхают слезы.
Не плачьте же, пастыри, о Ликиде:
Щедрая тебе мзда,
Дух твой отныне
Будет блюсти этот берег,
Осеняя странников опасных пучин. —

Так пел неумелый пастух
Дубам и ручьям
В час, когда рассвет шел ввысь в седых сандалиях;
На тонких скважинах свирельных стволов
Страстной думой ладил он дорийский лад;
И вот солнце простерлось по холмам,
И вот кануло в западные моря,
И он встал, окинувшись в синий плащ:
С новым утром к новым рощам и новым пажитям.

Пер. М.Л.Гаспарова

Уильям ВОРДСВОРТ

МОТЫЛЬКУ

1

Побудь вблизи, прерви полет!
Пусть взор мой на тебе замрет!
Тобой воссоздан каждый миг
первоначальных дней моих!
И время, что давно мертво,
    оживлено тобой,
порхающее существо:
отца я вижу своего
    со всей моей семьей.

О, сладость, сладость детских лет,
когда за мотыльком вослед
бежали мы с моей сестрой,
разгоряченные игрой.
Я, как охотник, подстерег

добычу-но напрасен был
мой бег, отчаянный прыжок:
оберегал ревниво Бог
    пыльцу прелестных крыл.

2

В дурмане желтого цветка
с тебя, малютки-мотылька
глаз не сводил я и не знал,
нектар вкушал ты или спал.
И был ты неподвижней вод
    объятых льдом морей.
Счастливым будет ли полет,
когда внезапный ветр найдет
    тебя среди ветвей?

Останься с нами! Мы с сестрой
Тебе подарим садик свой.
Твои уставшие крыла
Здесь отдохнут. Не бойся зла!
Будь гостем нашим дорогим,
    присядь на куст близ нас.
О детских днях поговорим,
их летний свет неповторим,
и каждый долгим был —таким,
как двадцать дней сейчас.

Перевод И. Меламеда

Эдгар ПО

А́ННАБЕЛ ЛИ

В старинном прибрежном одном королевстве,
Где встреча воды и земли,
Быть может, кто слышал о деве прелестной
По имени Аннабел Ли?
Быть может, кто помнит печальную повесть
О деве, о нашей любви?
Мы были детьми в королевстве старинном,

Где волны на берег легли.
Но больше, чем просто любовью любили
Друг друга мы с Аннабел Ли.
И нас серафимы крылатые в небе
Желали отнять у земли.
Быть может поэтому в том королевсте,
Где встреча воды и земли,
Холодное облако ветром пронзило
Прекрасную Аннабел Ли.
И дева моя, увезенная братом,
Навеки осталась вдали
В одной из гробниц королевства морского,
Где волны на берег легли.
Ведь ангелы не были счастливы в небе,
Завидуя нашей любви.
Поэтому ночью в морском королевстве,
Где встреча воды и земли,
Тот ветер, что выдул из облака холод,
Убил мою Аннабел Ли.

Но наша любовь оказалась сильнее
Испытанной взрослой любви,
Испытанной мудрой любви.
И ни серафимы в своем эмпирее,
Ни бесы в морях не могли
С тех пор разлучить мою душу с душою
Прекраснейшей Аннабел Ли.

Луна в небесах мне вещает о снах
Прекраснейшей Аннабел Ли.
И звезды горят, посылая мне взгляд
Прекраснейшей Аннабел Ли.
Вдали от людей я все ночи лишь с ней,
С любимой, с невестою, с жизнью моей
В гробнице, в которой ее погребли,
В могиле, где волны на берег легли.

1849

Перевод И. Меламеда

Гертруда фон ле Форт (1876–1971)

ЛИТАНИЯ О МИРЕ МИРА НАШЕГО

Помолимся о мире мира нашего, ибо он недужен,
и недуг его к смерти.
О, Вселюбящая Дева Мария, научи нас вымолвить:
Мир миру бедного мира нашего!

Окликнутая свыше вестью примирения,
испроси нам мир—
Носившая во чреве Слово примирения,
испроси нам мир—
Родившая нам Дитя примирения,
испроси нам мир—
О, таинница Примирителя,
о, причастница Всепрощающего,
о, предавшая себя в неволе милости,
испроси нам мир.

О, кроткий свет в бурной ночи народов,
мы взываем о мире—
О, голубица меж коршунами народов,
мы стенаем о мире—
о, процветшая ветвь оливы в пустоши сердец народов,
мы сгораем в тоске о мире—
чтобы наконец вышли на волю плененные,
чтобы наконец вернулись домой изгнанники,
чтобы наконец, о, наконец все раны закрылись,
испроси нам мир.
Ради приветной красоты земли
испроси нам мир—
Ради неистощимого величия морей
испроси нам мир—
Ради чистоты снежных высей
испроси, о, испроси нам мир—
О, избранница нашего Создателя,
о, предстательница за Его создание,

о, печальница о Его создании,
  испроси нам мир—

Ради смертного страха немощной плоти
  мы молим Тебя о мире—
Ради старых людей, что хотели бы умереть в своих домах,
  мы молим Тебя о мире—
о, заступница беззащитных,
  о, противоборница бессердечных,
о, звезда меж бурными тучами смуты,
  мы молим Тебя о мире.

Ты, что была с умиравшим на поле битвы,
  смилуйся над миром нашего мира—
Ты, что сошла под бомбы, в подземелья наши,
  смилуйся над миром нашего мира—
Ты, что приняла женщин, оскверненных насилием,
  смилуйся над миром нашего мира—
о, Матерь, что вместе с нами рыдала,
  о, Матерь, что вместе с нами скорбела,
о, Матерь, что вместе с нами безутешна,
  смилуйся над миром нашего мира.

Ради христиан, что готовы отчаяться в братстве нашем,
  спаси мир мира нашего—
Ради язычников, что готовы глумиться над братством нашим,
  спаси мир мира нашего—
Ради рода людей, что теряют подобие Божье,
  спаси, о, Матерь, спаси мир мира нашего—
Спаси его ради Сына Твоего, чтобы не стала напрасною жертва Голгофы—
Матерь, Матерь, обильная скорбью превыше всякой твари,
  на руки Твои прими погибший мир наш!
Ужас окрест нас, неслыханный ужас,
  человекоубийство без меры умыслил мрак!
Матерь, Матерь, мир мира нашего мертв,
  мир остался лишь в мире ином—

Ты, что пребываешь с нами и тогда, когда Тебя отвергают,
  Ты, что пребываешь вселюбящей и тогда,

когда Тебя презирают,
Ты, что пребываешь могущей и тогда, когда престол
любви Твоей на земле низвержен,
моли Бога о воскресении мира в мире нашем.

Тот, кто розами гроб Твой пустой наполнил,
да подаст Тебе пасху мира в мире нашем—
Тот, Кто вознес Тебя в небесную славу,
да подаст Тебе пасху мира в мире нашем.
Тот, Кто увенчал Тебя венцом грядущих блаженств
наших,
да подаст Тебе пасху мира в мире нашем—

О, Невеста Бога Живого,
о, Матерь Бога воскресшего,
о, Царица во царствии Бога вечного.

Аминь, Аминь. Ей, буди!
Буди пасха святая умерщвленного мира,
буди мир миру бедного мира нашего.

Пер.с немецкого С.Аверинцева.



СОДЕРЖАНИЕ

Редактор В.Варжапетян
Главный художник В.Петров
Обложка художника М.Ибшмана

Набор, верстка, изготовление макета
выполнены

фирмой «МОБИ ДИК»

Формат 84x108 1/32
Бумага офсетная
Тираж 999 экз.


НОЙ
נח
תשנ"ד · 1